

Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры
Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок



МАНСИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Хрестоматия

для учащихся 7 класса
общеобразовательных учреждений

Часть 2

Ханты-Мансийск
2015

УДК 821.511.143
ББК 83.3 Манс
М23

Рецензент:

Динисламова С. С. – кандидат филологических наук

М23 Мансийская литература: хрестоматия для учащихся 7 класса общеобразовательных учреждений. Часть 2 / Авт.-сост. Л. Н. Панченко ; под ред. Е. В. Косинцевой ; Деп. образования и молодёжной политики ХМАО-Югры., Обско-угорский ин-т прикладных исследований и разработок. – Ханты-Мансийск : Югорский формат, 2015. – 366 с.

ISBN 978-5-9907303-5-9

В хрестоматии представлены народный фольклор и произведения мансийских поэтов и прозаиков, рекомендованные для изучения в 7 классе общеобразовательной школы. Главная цель хрестоматии – обогатить читательский опыт учеников, расширить круг их чтения. Предназначена для работ на уроках мансийской литературы и для самостоятельного чтения учащимися.

Во вторую часть хрестоматии включено произведение М. К. Анисимковой «Ваули».

УДК 821.511.143
ББК 83.3 Манс

*Рекомендовано к печати Учебно-методической комиссией
Обско-угорского института прикладных исследований и разработок*

ISBN 978-5-9907303-5-9

© Панченко Л. Н., автор-составитель, 2015
© БУ ХМАО-Югры «Обско-угорский институт
прикладных исследований и разработок», 2015
© Оформление. ООО «Югорский формат», 2015

АНИСИМКОВА
МАРГАРИТА КУЗЬМИНИЧНА

Ваули

Глава 1

Над тундрой уже несколько дней бушевала пурга. Она перемела звериные следы, сровняла с берегами русла малых рек, пригнула к земле чахлые кустарники. Белёная снежная пыль заволокла горизонт. Ветер с силой хлестал в упругие стены чума, оторвав клочок оленьей шкуры, размахивал им, как зловещая птица крылом. Когда шкура, подхваченная ветром, с силой хлопнула о чум, лежавший возле нарт остроухий Серко заурчал. Успокоившись, спрятал кончик носа в пушистый хвост. Но когда порыв ветра снова приподнял клочок и закружил его над чумом, Серко вскочил, жалобно заскулил и, подбежав, стал тянуть зубами закиданную снегом шкуру, заменяющую дверь.

– Пусти его, сынок. Холодно, – послышался из-под шкур глухой хриплый голос.

Парень, сидевший возле тлеющих угольков очага, вздрогнул, сгрёб со лба длинные волосы, приподнял край шкуры.

Собака от радости взвизгнула, встряхнула взъерошенной ветром шерстью, лизнула руку.

– Ложись, – сказал парень, погладив собаку по спине.

Из-под шкуры возле очага слышался стон, потянулись к теплу худые руки с длинными узловатыми пальцами, унизированными медными и серебряными кольцами.

Парень, отодвинув угли в сторону, поволок шкуру на тёплую золу. Вдруг громкий отчаянный крик наполнил чум. В испуге вскочил Серко, приподнялся на локти Моттий Таск. Раскидав в стороны шкуры, вскочила женщина. Она запрокинула вверх голову и через дымовое отверстие чума пыталась увидеть небо, губы её что-то шептали. Но слабые, дрожащие ноги подкосились, женщина пошатнулась и повалилась на шкуры. В чёрных повлажневших главах дрожали слёзы. Парень поправил сбившийся на её глаза платок, провёл ладонью по холодным щекам.

– Не тронь её! Не мешай умирать! – простонал Моттий Таск. – Абани просила Нумо взять её к себе.

– Сын мой! Ваули мой! – слабо позвала парня женщина. – Рода Ненянгов больше нет. У тебя нет оленей! У тебя нет собак! Без оленей в тундре человек – сирота! Брось меня! Брось чум и иди в пастухи к Хозовыко. Может, ты продлишь наш род.

И она застонала. Но скоро стон утих, и старый Моттий Таск, уткнув лицо в чёрные ладони, заплакал.

Ваули гладил холодеющие руки матери, укрывал шкурой худые плечи. Она лежала бездыханно.

Лицо пожелтело, разгладились морщинки у глаз и губ, заострился нос.

Ваули боялся пошевелиться, Слёзы душили его. Он вытирал их ладонями, замусоленными рукавами суконной рубахи. Медленно, как ночь, к нему подкрадывался страх. Страх за себя, за своих сородичей, за свою бескрайнюю тундру. Перед глазами промелькнуло обросшее, окровавленное лицо отца, изувеченные в схватке с медведем руки, опухшее от голода лицо дедушки Моттий Таска. Озноб пробежал по всему телу. Часто застучали зубы. Судорогой сводило пальцы рук, темнело в глазах. Серко жался к Ваули боком, тыкался кончиком носа в ладони, шершавым языком лизал их, будто догадывался, что его хозяина тоже покидают силы.

Ваули смотрел на шкуры, под которыми лежала мать. Видел её ноги, обутые в старенькие кисы с заплатками на боку, вспомнил вечер, когда она пришивала их скрученными нитками из оленьих жил.

«Разве в тундре нет людей? Разве они не знают, какая беда пришла к Ненянгам?» – думал Ваули, вспоминая большие праздники богатых старшин, бессчётное число их оленей. Ещё недавно Ваули не думал о старшине Хозовыко, которому каждую весну приходилось отдавать большую половину приплода за дедовские долги. Сегодня он

вспомнил о нём: «Разве не может теперь Хозовыко помочь людям? Разве мало у него оленей?»

Словно на расстоянии увидел Ваули, как дедушка Моттий откинул шкуры и стал класть матери на грудь вначале одну, потом вторую руку, поправлял на шее песцовый воротник, разглаживал опухшими пальцами волосы. Приподняв шкуру, Ваули вышел из чума.

Буран ревел и кружил, будто олень на привязи.

– Куда ты, Ваули? Куда? – задыхаясь, крикнул дедушка Моттий. Но Ваули не слышал его.

Лёгкие нарты, скрывшись в метели, глухо стучали по промёрзшему насту. Олени, закинув головы, неслись, повинувшись властной руке Ваули.

– Пусть шаман Ламби берёт последнюю упряжку! – кричал в отчаянии Ваули. – Пусть Ламби собирает весь род Ненянгов! Пусть зовёт богов и спросит, что делать, как жить! Смог же он упростить Нумо не трогать оленей Ламби!

Упряжка бежала по руслу широкого ручья. За поворотом показались берега великой реки. Ваули знал: скоро покажутся чумы шамана Ламби. Он представил низенького горбатого старика с бесшумной походкой лисы, с колючими глазами, в которых, как казалось Ваули, жили небесные духи.

Шаман стоял возле чума и, казалось, поджидал упряжку. Ветер забил снегом широкую малицу, ко-

торая не скрывала его больших горбов. Косматые волосы торчали, словно трава на болотной кочке.

Увидев упряжку, Ламби пошёл ей навстречу.

Олени жадно хватали снег. Бык-коренник встряхивал головой. Ваули соскочил с нарты, резко и требовательно обратился к шаману.

– Собирай, Ламби, всё племя Ненянгов! Спроси духов, сколько могильных холмов на берегах рек оставит наш род. Или у тебя нет силы? Или у тебя нет духов?

В ответ шаман кашлянул и отвернулся.

– Тише! – оглядываясь по сторонам, чуть слышно сказал он. – Ты гневаешь духов! Они услышат твои дерзкие слова и пошлют страшный гнев!

– Духи давно потеряли слух. Они оглохли, как старые собаки. Морщинистое широкое лицо Ламби перекосилось. Он сжал кулаки, но, переборов волнение, сказал вкрадчиво:

– Здравствуй, Ваули! Ты забыл сказать доброе слово старому человеку. Не надо так гневиться. Духи не знают. Они сказали мне, что взяли сегодня к себе добрую Абани.

От слов шамана Ваули попятился.

– Пойдем в чум, я напою тебя горячим чаем. Пойдем! – позвал Ламби, взяв Ваули за руку. Рука у шамана была холодная, пальцы цепкие.

Посреди чума валялись бубен, колотушка, оленьи рога. Нетрудно было догадаться, что ша-

ман вызывал духов. Он украдкой разглядывал бледное лицо Ваули. Пощипывая длинными пальцами редкие волосы на подбородке, долго молчал.

– Будет по-твоему! – сказал наконец Ламби и, схватив колотушку, выскочил из чума. Раздались три удара по замёрзшей оленьей шкуре. Ваули слышал, как шаман кричал:

– Не жалейте моих оленей! Зовите ко мне весь род Ненянгов!

...Шаманство Ламби досталось не по наследству. На одном из праздников всемогущественный шаман рода Ненянгов Ноян Самым, увидев Ламби, долго присматривался к нему и наконец сказал: «Нумо не наделил тебя ловкостью и силой, но наделил тебя умом. Быть тебе шаманом, Ламби!» И взял его к себе.

Уже больше сорока зим и лет живёт шаман Ламби посредником между духами и людьми. Он мог предвещать, каким будет звериный промысел, когда и какую надо принести жертву, какой дух мучает больного человека.

«Неужели боги не стали слушать меня? – думал про себя шаман. Холодные капельки пота покрыла узкий лоб, большой квадратный подбородок, лежавший на высокой груди. – Быть может, и сам я оглох, стал стар и не так чист мой ум, не так зорек мой глаз? Может, от этого так дерзко говорил со мной этот Ваули?» – думал шаман.

И тут шаман поймал себя на мысли, что боится встречи со своими сородичами, боится взгляда Моттий Таска, боится плача детей, боится громких выкриков женщин. Он давно понял, что ничем не сможет помочь своему обездоленному роду. Мучился. По ночам ему снились страшные сны и казалось, что всё тело теряет силу. Дерзкие слова Ваули оглушили его, как гром. Ламби показалось, что от них он вдруг стал плохо видеть, перед глазами замелькали мелкие россыпи огоньков.

Он молча лёг на шкуру, старался успокоиться, стал вспоминать лучшие дни. «Не было, не было их у тебя! – стучало в висках. – Разве испытал ты, Ламби, счастливые минуты отцовства? Разве кто-нибудь ласкал тебя? Разве грелся ты возле чьего-нибудь плеча? Разве знаешь ты, как сладко бормочут во сне дети? Ламби до боли кусал губы, содрогаясь всем телом. «Где эти думы жили раньше? Или пришли оттого, что духи оставили меня одного? Может, правду сказал Ваули?» Ламби хотел повторить вслух слова Ваули, но испугался. Закрыв голову меховым одеялом и стал просить духов, чтобы они отогнали от него дурные мысли.

К утру пурга улеглась. Ветер стих. В полдень на горизонте показалось большое солнце. К низкорослой лиственнице, возле которой разожгли костёр, шли люди. Не слышно было громких ок-

риков пастухов, быстрого говора женщин. Шли молча, будто все онемели.

Раздался сильный удар бубна. В костёр бросили сухих веток, и люди собрались очищать себя от зимних грехов. Первым это делал шаман, но сегодня Ламби не торопился. Он долго смотрел, как играет и пляшет пламя. Потом обошёл вокруг костра, бросил через огонь бубен и колотушку, потоптался на месте и, разбежавшись, прыгнул. На подоле малицы зазвенели колокольчики. Шаман промелькнул в дыму, как чёрная подстреленная гагара. Над костром замелькали подола худых, облезлых малиц.

Дедушка Моттий Таск, не в силах перепрыгнуть, шагнул в костёр. Послышался треск горящих ворсинок, но он спокойно сбил руками гарь, что-то прошептал про себя и пошёл в сторону.

– Тише, тише! – закричал Ламби безмолвной толпе. – Я слышу приближение Нумо! – Шаман припал косматой головой к земле, закрыл глаза. – Я слышу его! Он просит жертву! Он просит оленя!

От его слов все замерли, склонили головы, а у старого Вырпаду часто задрожали, скривились губы.

– На! – раздался громкий голос Ваули. – Только я не отдам этих оленей тебе, Ламби! Я отдам их в память моей матери Абани, которая ушла вчера к верхним людям!

Женщины, услышав его слова, заголосили, закричали, стали царапать лица, рвать волосы и бросать их на сыпучий снег.

Шаман тяжело поднялся с земли. Затуманенным взглядом посмотрел на Ваули и что было силы начал бить колотушкой в бубен, закружился на месте, как подраненный зверь, закричал голосами птиц и зверей. Скоро голос его стал глуше, шаман пошатнулся, повалился на снег и лежал, не поднимая головы. «Я обманываю всех. Я не слышал голоса Нумо. Я не знаю, что сказать людям! – думал он. – Зачем? Зачем я просил у них жертву?» Ламби испытывал небывалый страх. Казалось, в теле вздрагивает каждая жилка, земля тянет его к себе, не даёт силы подняться. Он с трудом встал и, ни на кого не глядя, поволок по снегу бубен и колотушку. В чуме сорвал с головы железный обруч с маленьким рогом молодого оленя, пнул ногой колотушку и грохнулся на шкуру. «Зачем ты, Нумо, позабыл род Ненянгов? Зачем отобрал всех оленей? Зачем забираешь к себе людей? Зачем наслал на них болезни? Чем люди прогневали тебя? Или ты совсем не слышишь меня? Я зову тебя каждый день и каждую ночь! Я прошу тебя: помоги! Помоги роду Ненянгов, Помоги мне! Я не могу смотреть на голодные лица детей и стариков. Разве ты не видишь, как страдают они? – шептал шаман. Одутловатые щёки его бы-

ли мокрыми от слёз. Сухими длинными пальцами он тёр покрасневшие веки, трогал воспалённые волдыри на тонких синих губах. — Если ты не услышишь моих слов, Нумо, то скоро на земле не станет рода Ненянгов. Все в тундре сторонятся его, бегут, как только услышат о его приближении. Что я скажу людям?» Ламби припал большим ухом к бубну, обнял его длинными руками. Он лежал долго, не шевелясь, и, не услышав ничего, в отчаянии вскочил со шкуры и стал торопливо собираться. Всё валилось из рук, под ногами путалась шкура. Запинаясь и падая, шаман выбежал из чума. Опасливо оглядываясь по сторонам, стал грузить свой скарб на нарты.

...Была глухая метельная ночь. В плохую погоду дедушка Мотий плохо спал. Болели все кости, он не знал, куда положить ноющие в суставах ноги, тёр их ладонями, привязывал к коленям старую шкуру гагары, но боль не проходила.

Вдруг ему послышался бег упряжки, скрип полозьев. Он сморщился, закрыл ладонями уши. «Кто в нашу сторону погонит сейчас оленей? А в нашем роду их совсем мало». Мысли об оленях встревожили его. Он убрал от уха ладонь и снова услышал скрип полозьев. Покряхтывая, выполз из чума.

Мела позёмка. Снег от лунного света казался голубым. Моттий прищурился, стараясь увидеть

чум шамана, но услышал приглушённый окрик: «Хей-хей!»: «В худое время в голове всегда живут худые мысли – успокаивал сам себя Моттий, не веря своим глазам. – Разве сможет Ламби оставить нас?»

Приседая на больные ноги, пошатываясь, он шёл к месту, где стоял чум шамана. Но на его месте чернела вытаявшая от очага яма, валялись разбросанные ветки лиственницы да виднелся на снегу нартовый след.

– Оставил, оставил нас Ламби. Значит, он не услышал от Нумо хороших слов. Что станет теперь с нами? – шептал Моттий, со страхом оглядываясь по сторонам. Бегство шамана было самым плохим предзнаменованием. С этим дедушка Моттий связывал неминуемую гибель своего рода и не видел уж никакого спасения. Он плохо помнил, как дошёл до своего чума, как на четвереньках дополз до шкуры, на которой спал Ваули.

– Сынок, сынок – прошептал он. – Нет страшнее беды. Нас оставил шаман Ламби. Что теперь будет?

Ваули вскочил, выхватил из ножен нож, выбежал из чума. Запинаясь в снег, он побежал с отчаянной мыслью заставить шамана перед всеми признать свое бессилие. Но чума не было. Ваули несколько раз обежал вокруг места, где стоял чум, потрогал рукой не успевшую остыть в очаге золу,

припал ухом к нартовому следу и побежал по нему, проваливаясь в снег. Он бежал долго, гонимый каким-то внутренним страхом, боязнью обернуться назад.

Встречный ветер хлестал в лицо, трепал подол старой малицы, а он всё бежал, задыхаясь, не останавливаясь, и только когда в глазах потемнело, упал, ощупывая озябшими пальцами нартовый след.

– Хей-хей! – донесся как сквозь сон чей-то голос. Ваули приподнялся, оглянулся вокруг, отёр ладонью осыпанное снегом лицо. Снова послышался тот же окрик, Пошатываясь, он пошёл по следу и увидел упряжку. Возле нарты металась одинокая тень. По горбатой приземистой фигуре, по длинным рукам, почти достающим землю, Ваули узнал Ламби. Шаман что-то бормотал, складывая упавшие с нарты шкуры, затягивал ремни.

– Эй ты, трус! Эй ты, обманщик! – закричал Ваули ещё издали. – Ты на кого оставил своих людей? Разве тебе об этом говорили духи?

– Я не могу смотреть на голодных людей, – шептал Ламби. – Я не могу им помочь. Духи забыли нас. Они не слышат моих слов.

От его слов Ваули опешил. С малых лет привыкший верить каждому слову этого человека, он был не в силах понять, как случилось, что духи за-

были не только род Ненянгов, но и самого шамана.

— Ты сам об этом скажешь людям! Пусть они знают, что их покинули все. И духи, и ты, Ламби. Тебя тоже родила мать из рода Ненянгов. Куда побежал ты?

Шаман дополз до нарты, достал из-под шкуры нож и подал его Ваули.

— На, Ваули, зарежь меня, как паршивого оленя! Зарежь! Только избавь от встречи с людьми. Зарежь! Кому нужна теперь жизнь Ламби? — Шаман стоял перед Ваули и держал в руках нож. Голова его была обнажена, ветер кидал в разные стороны длинные волосы, опутывал ими лицо.

Ваули зажмурил глаза. Всё это казалось ему страшным сном, который никогда не пройдёт. Застоявшиеся в упряжках олени переступали с ноги на ногу, дожидаясь окриков каюра, били копытами снег. Привязанная к задней нарте важенька улеглась, натянув упряжь.

— Живи! — выкрикнул Ваули. Сам не зная для чего, вскочил на нарту, перепрыгнул через важеньку и, жадно глотая воздух, побежал обратно по своему следу.

— Ваули, возьми моих оленей! Возьми оленей! — Кричал вслед шаман. — Возьми оленей!

Но Ваули не слышал его. Он бежал, проклиная всё на свете: и шамана, и духов, и жизнь.

Весть о бегстве шамана Ламби потрясла весь род. Дедушка Моттий говорил всем, что Ламби непременно вернётся, что он уехал, чтобы принести хорошие вести, но Ваули молчал. Он помрачнел, ночами перестал спать, но никому не сказал о встрече с шаманом. Из головы не выходили слова Ламби, часто виделись его лицо и глаза, в которых жил страх. Дедушка Моттий заметил перемены во внуке. Он садился возле Ваули, молчал, перебирал в кожаной сумке колокольчики, снятые с подошедших от копытки оленей. Мелодичный звук наполнял чум, тревожил сердце, а Моттий, закрыв глаза, говорил:

– Великий, шибко великий был род Ненянгов. Нас было много, как комаров в летнюю пору. Оттого и зовется наш род Ненянги – Комары. – При этих словах старик улыбался, потом лицо его мрачнело. Он затягивал кожаным ремешком сумку с колокольчиками, прятал её под шкуру, начинал тихо стонать.

В день, когда к верхним людям ушёл старый Той, люди, гонимые страхом, стали торопливо снимать чумы, чтобы идти дальше, оставив недоброе место.

– Мы поставим чумы за поворотом реки, – сказал Ваули. – Это недалеко.

Заскрипели нарты, когда сильный Вырпаду, поправляя на плече временную лямку, громко

крикнул: «Хей!» Радостно залаяли собаки, завиляли кудрявыми хвостами, побежали вперед.

На снегу чёрными пятнами зияли круги от потухших костров.

Ветер тут же забрасывал их снегом. Нарты, гружённые домашним скарбом, были тяжёлыми, вязли в снегу. Люди шли молча, понутив головы, и только плач детей иногда останавливал их.

Ваули похудел. Лицо его стало чёрным, в глазах потерялся блеск. На одном из привалов он позвал к себе Тогомпадо и Хонзали.

– Или мы с вами слепые? – спросил Ваули, когда парни подошли к нему. – Разве не видят глаза, что совсем скоро не будет нашего рода?

– Говори, Ваули, что делать. У тебя, Ваули, больше силы!

– Мы найдем в тундре чужое стадо, пригоним оленей и накормим наших людей.

– Побойся Нумо! – ответил Хонзали.

– Ламби не побоялся его. Он оставил нас! – гневно сказал Ваули.

Глава 2

Много дней смельчаки из рода Ненянгов шли к угодьям богатого старшины Хозовыко. От голода кружило голову, темнело в глазах, хотелось прилечь и дать отдых ногам. Лыжи казались тяжёлыми, проваливались в снег, ветер как нарочно всё

время дул в лицо. Мысль, что только они могут помочь своему роду, придавала силы.

– Теперь скоро. Теперь совсем скоро мы найдем стадо, – сказал Тогомпадо, увидев возле кустарника волчьи следы. – Волки голодные. Они не уходят далеко от стада.

– Скоро будет тропа, мы встретим пастухов, – говорил Ваули ослабевшему Хонзали.

– Не думаешь ли ты, что они позволят взять оленей из стада своего хозяина?! – говорил Хонзали, лежа на снегу. – И от пастухов нам надо прятать свои следы, а то они намнут нам бока.

Издали донесся лай собак.

– Ну, что я говорил? – весело сказал Тогомпадо, присаживаясь рядом с Хонзали. – Скоро появится упряжка.

Высокий краснощёкий пастух ещё издали по орнаменту на одежде узнал парней из рода Ненянггов. Он остановил оленей, сел на нарту и ничего не говорил.

– Мы из рода Ненянггов, – сказал Тогомпадо, убирая ладонью снег с чёрной бородки. – Ты слышал, что в нашем роде осталось мало людей? Они все умирают от голода. У нас совсем нет оленей.

Пастух молча достал кусок оленьего мяса, положил на снег, крикнул на оленей и погнал их вмах, оставляя за собой вихрь снежной пыли.

Хозяин тысячного стада оленей Хозовыко поставил свое стойбище на крутояре речки Потуй. Узкие извилистые следы, как хитрые звериные ловушки, опоясывали полтора десятка чумов, в которых жили пастухи, работники знатного старшины. Среди них красовался большой, крытый белыми шкурами чум хозяина. В нём жили две его жены: старая Ватана и молодая Таска, которую он привёз три года назад с Обдорской ярмарки, заплатив за неё отцу сорок оленей. Жёны сидели по разным сторонам, молчали, шили кисы, малицы, выделывали шкуры.

Неповоротливый Хозовыко целыми днями лежал на шкурах, а вставая, садился к огню. Батрак Слев по утрам подносил ему кроплёную на Молебном Камне воду. Хозовыко неуклюже вытягивал короткую шею, смачивал толстые пальцы в воде, боязливо прикасался к глазам, обтирал их, а потом долго и смачно ел, пил чай до пота, вытирал жирные пальцы подолом синей сатиновой рубахи и снова ложился спать.

В один из дней, когда жёны, не поделив между собой шкурки, поссорились, Хозовыко выгнал их из чума и заставил жить отдельно. И скоро почувствовал, что без них ему лучше и спокойнее.

Ранним утром слышался лай собак. Хозовыко, стараясь угадать, с какой стороны бежит уп-

ряжка, приложил ладонь к уху, но в чум вбежал пастух Езек и упал перед хозяином на колени.

– Ну, чего? Язык проглотил? – пнув пастуха, спросил Хозовыко.

Езек обтёр рукавом малицы вспотевший лоб, облизал обветренные губы.

– Ваули из твоего стада угоняет оленей, – шёпотом сказал пастух.

– Каких оленей?

– Твоих!

– Какой такой Ваули? – вскочил со шкуры Хозовыко и ударил Езека по лицу.

– Из рода Ненянгов. Откуда приехал к тебе шаман Ламби.

– А ты, собака, где был? Ты, собака, куда глядел? – кричал Хозовыко.

– Их род погибает! К ним пришла беда. Кто в тундре не знает об этом?

– Замолчи! – Хозовыко в ярости пинал оленье шкуры, швырял всё, что попадало под руки. Его толстые губы дрожали, одутловатые щёки обвисли – Умирают в тундре люди? Ну и что? При чём тут мои олени? Я хозяин. Я хочу продать оленей и купить себе третью жену. Молодую, как весенний лист! – уже сипел старшина, лихорадочно расстёгивая ворот рубахи. – Зови сюда пастухов!

Старшая жена Хозовыко Ватана в это время вошла в чум. Она положила на берестяную ска-

терть мороженую печень – любимое лакомство хозяина. Низенькая, располневшая, в пушистой песцовой шапке, она опасливо смотрела на Хозовыко, втянув голову в плечи.

– Пустое воронье гнездо! – ярость Хозовыко нашла новый выход. – Пятьдесят оленей калыму отдал! За кого? – Хозовыко сдёрнул с её головы шапку, бросил в сторону. Чёрные седеющие волосы Ватаны были аккуратно заплетены в косы, цветные нитки, разноцветные лоскутки ткани, монеты, цепочки украшали их. – Пустое гнездо! – шипел Хозовыко. – Зачем не родила мне сына? Он был бы теперь хорошим хозяином.

– Зачем Хозовыко бил Ватану, когда у неё был сын? – всхлипнула женщина и выбежала из чума, когда в него заходили пастухи. Они знали: Хозовыко так просто к себе никого не зовёт.

– Вы слышали: какой-то сопляк, из рода Ненянгов погнал из моего стада лучших быков и важенок! Догоните. Верните обратно оленей, и каждый из вас получит по целому оленю. Я не возьму себе даже камус.

Пастухи молчали.

– Чего молчите? Или вместе с мясом моих оленей проглотили языки? – закричал старшина. – Или вам мало одного оленя? Может, вы будете торговаться со мной?

– В род Ненянгов пришла беда! Скоро, совсем скоро не будет Ненянгов, как не стало рода Худи, – сказал низенький подслеповатый пастух.

– Какое мне дело до их беды?! Догоните их! Или убирайтесь от меня в тундру!

...В воздухе белой мутью кружила выюга. Стадо оленей бежало вдоль берега реки, повинувшись окрикам людей. Когда, снег повалил хлопьями, бык-коренник свернул к кустарнику, побрёл, буровя широкой грудью глубокий снег. Шумно дышали тяжёлые важенки. Тёплый пар из широких ноздрей клубился в воздухе, смешивался, терялся в снежинках. Вокруг была тишина. Присутствие рядом самых любимых животных вызывало в душе Ваули и его товарищей радость, которую трудно было скрыть. Тогомпадо торопливо дотронулся рукой до спины пятнистой важени, погладил её шею. Олениха фыркнула, качнула рогами и побрела по снегу.

– У меня совсем не идут ноги, – усаживаясь на широкую лыжину, сказал Хонзали, морщась от боли. – Давай, Ваули, отдохнём. Видишь, даже олени устали бежать по такому тяжёлому снегу. Если бы у нас были нарты, как далеко унесли бы нас олени! – говорил он, ощупывая опухшие колени.

Но Ваули торопил товарищей. Надо было скорее уйти из чужих угодий, освободиться от тре-

возного чувства вины и позора, с которыми всегда связано самое постыдное дело в тундре – угон чужих оленей. Он знал: это чувство и дома не оставит его, и в народе долго будут помнить, передадут его детям, что он нарушил извечный закон честности.

– Не горюй, Ваули, – угадав его думы, сказал Хонзали. – Нумо простит. Когда я пошёл с тобой, думал: какое счастье съесть кусочек оленьего мяса. Я попробовал его – и мне захотелось жить. Отдохни, Ваули, – просил Хонзали. – Впереди у нас дальняя дорога.

Низенький, в длинной малице, он походил на подростка, и только мелкие частые морщинки у глаз и на лбу говорили о прожитых в нужде годах. Хонзали раньше других остался без оленей. Вначале он стеснялся своей бедности и поставил чум подальше от своих сородичей: не хотел слушать обидных слов, будто он по своей лености просмотрел и загубил оленей. Но когда копытка покосила стада у всех, в роду вспомнили и Хонзали, и даже сам шаман Ламби просил его поставить свой чум рядом со всеми. К тому времени Хонзали стал одинок. Жена его и дети один за другим умерли от голода, как во многих других семьях рода... Своего чума он не поставил, а жил то у одного, то у другого, но чаще и подольше оставался с теми, к

кому приходила беда. Он и к Ваули в чум пришёл, когда умерла Абани.

– Теперь мало-мало род Ненянгов оживёт. А когда отелятся оленихи, мы отдадим Хозовыко оленей, – говорил Хонзали. – Род Ненянгов чистый. О нём не летает по тундре худая слава. Нет. И женихи в нашем роде самые смелые, как ты, Ваули.

Хонзали говорил тихо, певуче, как пел песню, растирая ноги, изредка поглядывая в сторону Тогмпадо, который всё смотрел на оленей.

– Этих оленей мы разделим всем поровну. Будем ездить на охоту, добывать зверя, сдавать ясак, покупать муку, – сказал Ваули.

– Будем. Все будем! – соглашался Хонзали, и его простые, бесхитростные слова успокаивали Ваули, снимали напряжение, от которого болел каждый мускул.

Ветер задувал костёр, отгонял дым в низину, а хлопья снега шипели на разгоревшихся прутьях тальника.

Ваули пододвинул к огню длинные ноги в худых кисах.

Из низкорослого кустарника доносился шорох сгрудившихся оленей. Скоро в снег улеглась старая вислоухая олениха. Двое молодых бычков потоптались возле неё и легли рядом.

— Я сегодня ночью рядом с оленями. Погреюсь возле их тёплых боков! — говорил Тогомпадо. — Я люблю слушать, как часто-часто у них стучит сердце.

К вечеру похолодало. Мороз будто сжимал воздух, трещал в топких прутьях кустарника. Луна лежала между тёмными тучами, словно провалилась на дно тёмного колодца, и едва светила. В стороне хрустнула ветка. Из снега вылетела куропатка и, не в силах сразу подняться на крыло, летела низко над кустами. Вскочил на ноги молодой олень.

— Это мороз, — посмотрев в сторону, сказал Хонзали, удобнее присаживаясь к костру.

...Пастухи старшины Хозовыко, оставив упряжки у берега реки, подбирались к костру осторожно, ползли по снегу тихо, как росوماхи.

— Бейте воров! Бросайте их в тундре! — как выстрел, раздались громкие голоса. Хонзали от неожиданности жалобно и протяжно завизжал, схватил из костра горящий прут и стал размахивать им вокруг себя.

— Олени! Олени! Гоните скорей оленей! — закричал Ваули, бросившись к стаду. Гортанный окрик Тогомпадо поднял стадо. Олени понеслись к реке. Навстречу мчались на упряжках оставшиеся с оленями пастухи Хозовыко.

– Гоните оленей! – кричал Ваули, стараясь отогнать пастухов, но сильный удар по голове свалил его с ног. В глазах потемнело.

...Он очнулся от сильного жара во всём теле. Казалось, в голове шумели все ветры тундры. «Где я? Где Тогомпадо?» – не открывая глаз, думал он. Ваули хотел повернуться, но не смог, руки не поднимались и лежали, как перебитые крылья. Перед глазами, как во сне, промелькнули корявые бадюги, лезвия ножей, оленьи копыта. Чья-то тёплая рука коснулась его щеки, отодвинула со лба длинные волосы.

– Кто не знает, что у Ненянгов всегда было храброе сердце? – услышал Ваули незнакомый голос и с трудом приоткрыл глаза. У огня на корточках сидел человек в облезлой малице. Не видно было его лица, но по опущенным плечам нетрудно было догадаться, что по жизни он пронёс тяжёлую ношу.

– Где я? – спросил Ваули.

– Ты в чуме пастуха Яптика, – не оборачиваясь, ответил человек у огня. – У пастуха старшины Хозовыко.

Ваули понял, что все их старания оказались напрасными.

– Где Тогомпадо? Где Хонзали?

– Я не знаю, где твои друзья. Может, их кости растащили по тундре волки. Я нашёл тебя в по-

рванной малице, и в тебе чуть-чуть было тепла, – сказал старик, поворачиваясь. Он прищурил и без того узкие глаза, для чего-то несколько раз дёрнул тоненькую косичку за правым ухом. – Тебя, Ваули, зовёт к себе старшина Хозовыко, Он, может, и не стал бы брать тебя в пастухи, но его просил шаман Ламби. Шаман Ламби сказал, что ты самый смелый из всего рода Ненянгов, а рода Ненянгов, говорит Ламби, уже нет на земле.

– Врёт всё шаман Ламби! Врёт!

– Зачем плохие слова говорит Ваули о шамане Ламби? Шаман приходил к нам в чум. Он долго смотрел в лицо и кропил твой лоб святой водой. Может, его слова и помогли тебе открыть глаза.

Ваули отвернулся.

– Хозовыко ждёт тебя. Он велел прийти к нему, как только ты откроешь глаза.

– Я не пойду к Хозовыко. Я не буду у него пастухом, – сказал Ваули.

– Десять пальцев всегда сильнее одного, – ответил Яптик. – Будь, Ваули, умнее. Разве хватит у тебя сейчас сил, чтобы уйти без оленя в тундру?

Ваули замолчал. Он больше не ответил ни на один вопрос Яптика, не возразил ему. Он лежал, испытывая нестерпимую боль во всём теле, и словно издалека слышал голос матери, которая говорила ему «Иди, Ваули, к Хозовыко. Иди, сынок. Будь пастухом. Может, ты продлишь наш род».

Ночью Ваули очнулся от чьего-то дыхания над своим лицом. Вспомнились слова Яптика о шамане Лямби, который кропил его водой, и, не открывая глаз, прошептал:

– Уходи, изменник. Я не открою глаза, чтобы смотреть в твоё лживое лицо. Уходи.

Но чья-то маленькая рука снова погладила его лоб, дотронулась до щеки, и, припав губами к уху, женский голос, дрожащий и тихий, прошептал:

– Ваули, тебе надо идти к Хозовыко. В пастухи идти. Или ты замёрзнешь в тундре. У тебя нет малицы, а у нас нет шкур, чтобы сшить тебе новую, – говорил женский голос.

У Ваули часто застучало сердце. Он не мог представить, кто бы это мог быть. Подумал, что ему приснился сон. Он напряг силы, приподнял руку и схватил в ладонь тонкие пальцы.

– Кто ты? – сжимая маленькую руку, спросил Ваули.

В чуме была тишина. Ваули казалось, что он ничего не слышит кроме горячего дыхания возле его щеки. Но вдруг маленькая рука выскользнула, и женщина, как ловкая белка, прошмыгнула возле него в противоположную половину чума. Ваули услышал тонкий звон цепочек в косах и догадался, что рядом была девушка. Он приподнялся на локти, пытаясь что-нибудь разглядеть, но видел толь-

ко тёмные стены чума, ворох оленьих шкур да расслышал хриплое дыхание Яптика.

Уснуть Ваули не смог. Ещё кружило голову, тошнота подступала к горлу, но слова и доброта девушки придавали силы. Морщась от боли, он встал и, пошатываясь, вышел из чума. Собака, выскочив из-под нарт, подбежала к нему, но, не признав в нём хозяина, зарычала.

Луна плыла по высокому небу быстро, как будто торопилась, оставляя за собой тёмные тучи. Виднелись придавленные снегом чумы, блестел разметанный метелью снег. Всё притаилось, насторожилось, задремало, всё будто притихло на время. И эта тишина была необходима Ваули.

Яптик проснулся и, увидев, что Ваули сидит возле очага, удивлённо воскликнул, улыбнулся и протянул руку:

– Здравствуй, здравствуй, Ваули, – сказал он, усаживаясь рядом. – Я так и знал, что слова шамана Лямби помогут тебе. У него были хорошие слова.

Ваули слушал, искоса поглядывая в противоположную сторону чума, где, повернувшись к ним спиной, сидела девушка.

– Это моя Тученбала, – уловив взгляд Ваули, сказал Яптик. – Она шьёт старшине новую малицу. У неё ловкие руки.

Ваули плохо слушал Яптика. Он будто снова ощутил прикосновение рук девушки на своей щеке, и они запылали, а лоб покрылся мелкими капельками пота.

– Ладно, добрый Яптик, я послушаюсь твоего совета, – неожиданно для себя сказал Ваули. – Я пойду к старшине Хозовыко.

– Хорошо сделаешь, Ваули, хорошо. На, возьми мою малицу, – сказал Яптик. – Твоя совсем порвана. Тученбала потом починит её.

...Хозовыко пил чай, но сразу поставил чашку, когда Слев сказал, что к нему пришёл найденный в тундре парень из рода Ненянггов. Он поправил подол рубахи, обтёр лицом потное лицо и высоко поднял голову, пытаясь разглядеть Ваули, о котором ему много рассказывал шаман Лямби.

– Слышали мои уши, что ты отбил от моего стада целую сотню быков и важенок, – сказал Хозовыко, ёрзая на шкуре.

– Лямби – трус, а про твоё стадо правду слышали твои уши.

– А ты помолчи, – краснея, сказал Хозовыко, сморщив нос, будто ему дали понюхать зловонную настойку из прокисших мухоморов. – Ты молчи, – снова сказал старшина. – В тундре для всех живёт один закон: у кого нет оленей, тот должен молчать. В твоём роде осталось два десят-

ка людей и ни одного оленя. Куда ты денешься? Куда пойдёшь?

– Не говори, старшина, так о моём роде, – ответил Ваули. Трус Ламби сказал тебе неправду. Он сбежал. Он оставил всех. А род Ненянгов жить будет!

– Чем же он будет жить, если у вас на всех нет ни одного оленя? Все передохнете с голоду!

– Будет жить! Будет! – Ваули выбежал из чума под насмешливый хохот самодовольного старшины.

Яптик не спрашивал Ваули о разговоре с Хозовыко. Он понял всё, когда взглянул в его почерневшее лицо.

– Я прошёл тайгу и тундру от Каменной стороны до рек Пура и Таза, – сказал пастух, – но не видел, где бы хорошо жил бедный человек. Поживи здесь, Ваули. Наберись сил.

Ваули понимал, что Яптик по-своему прав, но хоть сейчас он готов был идти в родное стойбище. Сколько угодно дней. Готов был замёрзнуть в тундре, лишь бы не быть пастухом у жадного Хозовыко. Он понимал также, что только Тученбала держит его. Она принесла в его сердце радость. Ему хотелось видеть, как она ходит, как кипятит чай, как шьёт старшине одежду, как тихо и ласково разговаривает со своим старым отцом. Ему стало казаться, что облака на небе поднялись выше и солнце засветило сильнее, радостнее стали лаять

собаки и веселее разговаривать люди. Из всех звуков он мог узнать звон украшений в её косах, отличить от всех её лёгкие шаги. Он боялся лишний раз взглянуть в её сторону и только шептал про себя: «Я увёз бы тебя в свой чум. Я долго, долго глядел бы в твои тоскливые глаза, Тученбала. Я зажёг бы в них радость. Я знаю: твой отец отпустил бы тебя в наш род, если бы он был богат».

Ваули понимал, что о Тученбале он мог только мечтать, знал, что у старого пастуха в жизни одна надежда: получить за дочь калым, приобрести своё маленькое стадо. Так в тундре думал каждый. Он старался отогнать думы о девушке, но приходил вечер, а с ним и тоска.

— Не надо, Ваули! Не смотри на меня так! — сказала как-то Тученбала, когда Яптик вышел из чума.

— Тученбала! — зашептал Ваули. — Ты поедешь со мной в наш чум? Я заработаю у Хозовыко оленей. Я пойду к нему пастухом.

Тученбала вздохнула.

— Ты знаешь, отец всю жизнь мечтал о своём стаде, а у Хозовыко не нажил его за всю свою жизнь. Разве ты захочешь разорить моего отца? Нет. Ваули! Нынче отец повезёт меня на ярмарку. Он обменяет меня на десять оленей. Старый Хомлог с речной стороны посылал к отцу своих пастухов.

– Ты не пойдешь в чум к старику! – шептал Ваули. – Я сам поговорю с твоим отцом.

– Не тревожь его сердце, Ваули!

Глава 3

Через несколько дней в чум к Яптику пришёл батрак старшины Слев. Он присел к очагу, долго тёр корявым пальцем левый глаз с бельмом, достал из-за пазухи резную берестяную табакерку.

– Хороший у тебя табак, – чихнув несколько раз кряду, сказал Яптик. – Давно, шибко давно я не нюхал такого табаку.

Слев ничего не ответил, протянул табакерку Ваули: – Понюхай. Его дал мне ваш шаман Ламби.

– Пусть сам нюхает, – сердито ответил Ваули. Он не мог спокойно слушать о предателе-шамане. Хотелось тут же бежать к чуму, который Ламби поставил на другом берегу Потуя, и перед всеми расправиться с ним.

– Зачем так плохо, Ваули, ты говоришь о старом шамане. Ламби шибко-шибко просил Хозовыко оставить тебя пастухом, – сказал Слев. – Хозовыко не хочет пускать тебя в стадо. Хозовыко боится, что ты угонишь оленей, а шаман Ламби спорит с хозяином. Только один Ламби умеет так говорить с Хозовыко.

– Ламби всё врёт. Нет у шамана Ламби заботы о роде Ненянгов, – ответил на добрые слова Слева Ваули.

Батрак покачал головой, погрозил Ваули пальцем, поднял его вверх, что означало: «Не гневи попусту духов. Они слышат всё».

– Я принёс тебе лыжи, – покряхтивая, сказал Слев. – На них ты будешь каждый день торить тропу возле стада выездных быков, а нарту Хозовыко тебе давать не велел. – Выходя из чума, он подозвал Ваули и сказал: – Я слышал: Хозовыко велел задавить тебя тынзяном сразу, как только ты окажешься на чьей-нибудь нарте. Хозяин боится тебя.

Слев наклонил голову, несколько раз покусал медвежий зуб, привязанный на поясе, веря, что никакие духи не услышали его слова. Потянулись тоскливые дни. Утром Ваули вставал на лыжи и шёл к стаду. Он подолгу смотрел на оленей. Наблюдал, как, разгребая копытами снег, уткнув морды, они встают на колени и нюхают выбитый копытами мох. Ваули с силой втыкал хорей в снег и, припав лицом к сделанной отдушине, старался уловить аромат трав и мхов пробуждающейся тундры. Приближалась весна. «Погоди, старшина, – думал про себя Ваули. – Недолго я буду у тебя. Скоро ты не увидишь этого стада. Я всё равно отгоню его. Всё равно». Эта мысль неотступно стала преследовать его. Он присмотрел нарту с

поломанным полозом, в сумерках приволок к чуму Яптика и попросил старика починить её.

— Ой-ой, Ваули, — сказал старик, догадавшись о намерении Ваули. — Ой-ой! Они догонят тебя и задушат в тундре, как оленя.

Ваули ничего не ответил.

В один из вечеров в чум опять пришёл батрак старшины. Отыскав взглядом Тученбалу, спросил:

— Когда будет готова хозяину новая белая малица? Хозовыко ждёт гостей, послал пастуха Езека за «огненной водой». — Присев к очагу, Слев протянул к огню руки. — Я так соскучился по теплу, — жаловался он. — Я совсем не бываю у огня. Хозовыко один греет свои бока и руки. У меня нет своего чума. К старости у человека всегда остывает кровь.

— Что-то часто ты стал приходить в чум к Яптику, Слев, — сказал Ваули. — Не меня ли проведешь?

Слев покраснел, провёл пальцем по белому глазу:

— Не надо. Не говори, Ваули, таких обидных слов. Я смотрю на тебя потому, что шаман Ламби всегда молится о твоём здоровье. — Слев торопливо вышел из чума.

...Весной, когда наступала пора перегона стад, Хозовыко принимал в своём стойбище старшин богатых родов. Сам наряжался в красную атласную рубаху, Ватана плела ему косы и готовила

много вкусной еды. Возле чума держали жирного оленя, чтобы заколоть его, тут же попить горячей крови, поесть тёплую оленью печень.

Гости везли с собой разные вести. От них Хозовыко узнавал цены на меха, на оленей, каким будет ясак, как торгуют мукой в Обдорске, какие порядки устанавливает князь Тайшин.

Первым приехал старшина Небор Тобольчин. Утомлённый дорогой; он ввалился в чум с шумом, у входа сбросил громадный «гусь», забитый снегом, долго растирал окоченевшие пальцы, передегивал плечами, ругал себя, что поехал в дальнюю дорогу не в своём постоянном одеянии – рубахе, сшитой из оленьей шкуры мехом внутрь, а напялил сшитую из материи.

– Иди скорее к огню, – радостно говорил Хозовыко. – Надевай тёплые кисы.

Небор, отогревшись несколькими глотками «огненной воды», заулыбался, оглядел чум.

– Куда девались твои жёны? – спросил он.

– Выгнал в другой чум, – ответил Хозовыко. – Ни одна не родила мне сына. Нет у меня наследника, – пожаловался он.

– Это плохо, – согласился Небор. – Стада у тебя большие. Хозяина надо. – Небор достал большую почерневшую трубку, закурил. – Зато у меня беда с сыновьями. Всё из-за угодий ругаются.

Всем кажется, что я кого-то обидел, дал меньше оленей. А оленидохнут.

– Ты слышал, что Ненянги вымирают? – спросил полущёпотом Хозовыко. – сам шаман Лямби от страха прибежал ко мне. У них нет ни одного оленя.

Небор часто заморгал опухшими от ветра веками.

– Может, оттого и у менядохнут олени?

– Не знаю, – протянул Хозовыко и пожалел, что сказал об этом Небору.

– Моё дальнейшее стадо было в стороне, где каслают Ненянги.

Он стал ещё что-то припоминать, но за шумом слышались влания собак, а потом донеслись перезвоны колокольчиков. Хозовыко вышел из чума встречать нового гостя.

В стойбище с тревогой ждали дней пиршества хозяина. Старики говорили, что у Хозовыко долгая память. Он никогда не забывал обиды, а испив «огненной воды», дурел, сводил счёты по всяким пустякам, ходил по чумам сородичей, ругал их, учил, как надо правильно жить, вспоминал обиды, затевал драку.

Вечером над чумом раздался ружейный выстрел. Это было первым признаком злобы хозяина.

Ваули был у Яптика, когда ружейный выстрел прервал его мысли. Он слышал рычание собаки и

по глухому покашливанию узнал Слева. Батрак, ничего не говоря, подошёл к очагу, опять сел на корточки, спрятал лицо в колени.

— Ты не перепутал чум? — спросил его Ваули. — Тебя не потеряет хозяин? Там сыто едят и шумно гуляют.

Слев упал перед Яптиком на колени:

— Хозовыко зовёт к себе Тученбалу. Он хочет показать её старшинам.

Яптик спросонья не понял, что сказал Слев, но Ваули, схватив батрака за ворот, дрожа всем телом, проговорил:

— Уходи! Или я сверну тебе шею!

— Ваули,— взмолился Слев, протянув вверх руки. — При чём тут я? Я бедный человек.

— Зачем несёшь в чум худые вести? — шептал ему в лицо Ваули.

Яптик всё понял, закашлял, как загнанный олень, сел к огню, сгорбился. Тученбала, поджав под себя колени, прижалась к отцу и с тревогой смотрела на Ваули.

— Хозовыко хочет взять её третьей женой,— прошептал Слев.

Тученбала вскрикнула, закрыла лицо ладонями.

— Передай жирному быку, что я прежде всего в спору ему брюхо, чем Тученбала пойдёт к нему в чум.

– Если лебедь, расправив крылья, не полетит, то кто узнает, как он летает? – неожиданно сказал Слев и, пятясь, вышел из чума. Ваули выскочил вслед. Он метался возле чума, не зная, что предпринять. Медлить было нельзя. Вбежав в чум, он, не в силах сдержать себя, схватил девушку за руки:

– Ты поедешь со мной, Тученбала? Я увезу тебя в наше голодное племя Ненянггов! Поедешь?

Она стояла перед ним испуганная, робкая. Яп-тик сидел к ним спиной и, казалось, ничего не видел и не слышал.

– Я рассчитаюсь с тобой, Яптик Хороль! – присев перед стариком на корточки, сказал Ваули. – Я клянусь тебе священной птицей гагарой.

Словно окаменев, старик тупо смотрел на тлеющие угли.

– Говори отцу, что ты с охотой едешь со мной! – обнимая за плечи перепуганную Тученбалу, говорил Ваули.

– С охотой! – сказала она.

– Говори, что ты не хочешь идти в чум к Хозовыко!

– Не хочу! Совсем не хочу! – крикнула девушка.

Яптик снял с плеч свою малицу, подал Ваули, из-под шкуры вытащил меховой мешочек, протянул его.

– Это я приберёг ей для свадьбы!

– Нет, нет! Это оставь себе, – сказал Ваули.

– О, Нумо! – воскликнул Яптик, услышав пьяные голоса. – Тогда скорее, Ваули! Тогда торопитесь! Если Хозовыко что задумал, он всё равно добьётся своего. Богатые люди прожорливы.

Ваули поправил в ножнах нож, взял лук и стрелы. Они встали перед Яптиком на колени. Старик провёл шершавой рукой по спине Тученбалы, коснулся лба Ваули, и они выбежали из чума.

– Ты куда, Ваули? – в отчаянии шептала Тученбала. – Там живёт Хозовыко. Разве ты не слышишь громкие голоса?

– Обожди, Тученбала. Постой тут. Я возьму упряжку оленей. На плохих оленях старшины в гости не ездят.

От страха Тученбала сжалась в комок. Кусая губы, она шептала заклинания.

– Тученбала, Тученбала! – услышала она голос Ваули. Птицей взлетела девушка на нарту, прижалась к его спине, боясь открывать глаза, обернуться назад.

Олени неслись, разбрасывая из-под копыт снег, засыпая им нарты, подолаы малиц. Хорей мелькал над их головами, и приглушённые возгласы Ваули не давали животным сбавить бег. Подъезжая к стаду, Ваули засвистел. Олени встревожились.

– Ваули, Ваули! Скоро Хозовыко пошлёт за нами погоню. Обязательно пошлёт. Он будет бить моего отца, – шептала Тученбала.

Ваули ничего не говорил. Он громко свистел, и, повинувшись его окрикам, стадо сбилось в кучу и побежало вперёд.

Глава 4

Солнце день ото дня поднималось всё выше. Над кустами стоями кружили куропатки, долго сидели на зыбких ветках, клевали жёсткие, примороженные почки. Чешуйками падали на сверкающий наст и, подхваченные ветром, летели к берегу реки.

«Весна всегда согревает душу», — думал дедушка Моттий, разглядывая запорошенный снегом песцовый след. Он присел на старую нарту, прищурил слезящиеся от яркого солнца глаза. Чтобы отогнать мысли о голоде, он начинал разговаривать сам с собой. Говорил, какие в молодости у него были зоркие глаза и быстрые ноги, какой удачливой была охота, на каких лихих оленях ездил он на ярмарку. И хотя от этих дум у него начинало щипать сердце, он не мог лишить себя радости воспоминаний, которые являлись ему как награда за лишения и страдания, переживаемые родом Ненянгов.

Со стороны ветра старику слышался бег оленьего стада. Он поморщился, но по привычке приложил ко лбу жёлтую, как засохшая берёзовая кора, руку и посмотрел вдаль. Увидев оленей,

бросился им навстречу. Он не думал, чьё это стадо, куда оно бежит, откуда появилось в их стороне. Он бежал, проваливаясь в снег, бормоча: «Неужели Нумо слышал наши молитвы? Может, к нам вернулся шаман Ламби? Нет, это кричит Ваули. Я отчетливо слышу его голос».

— Люди! — закричал дедушка Моттий, обернувшись. — Разве вы не слышите голос нашего Ваули?

Наездник стоял на нарте, размахивая хореем. Ветер раздувал подол его короткой облезлой малицы.

— Ваули! Что я вам говорил? Это Ваули! — кричал старик. — Видно, Нумо ещё не забыл род Ненянгов. Чего же вы не встречаете Ваули? Разве не узнали его? — кричал дедушка Моттий, охваченный радостью. — Не вы ли оплакивали его смерть, когда в стойбище пришли Хонзали и Тогомпадо? — Моттий говорил торопливо, гладил морды оленей, доставал из широкой ноздри бородатого быка обледенелый комок снега. И только когда его рука коснулась передней лопатки оленя, на которой была выстрижена тамга старшины Хозовыко, Моттий смолк, сразу ослаб и, скосив набок седую голову, шёпотом спросил:

— Этих оленей ты украл у старшины Хозовыко?
Ваули кивнул головой.

— Это, сынок...

Но Ваули не дал договорить ему.

– Берите оленей! Берите! – закричал Ваули сбежавшимся людям. – Чего вы испугались тамги Хозовыко? Не бойтесь. Это все наши олени. Нумо пошлёт гнев только на мою голову!

Он понимал страх сородичей и накликал гнев духов только на свою голову, лишь бы спасти людей от неминуемой смерти.

– Видят мои глаза, ты привез в чум невесту? – спросил внука Моттий. – Ты и её, как оленей, взял силой?

– Нет, нет! – крикнула Тученбала. – Мой отец Яптик Хороль сам отдал меня. Мой отец сам отдал меня Ваули.

– Твой отец так и остался нищим, а он хотел получить за тебя калым. Ну, заходи в чум. Кто знает, где чьё счастье! – бурчал старик.

– Ну что я говорил вам? Что говорил? Я знал, что Нумо не оставит в беде род Ненянгов. Что я говорил? – радостно кричал старый Вырпаду. Удивлённый его криком, дедушка Моттий несколько раз дунул в сторону, чтобы отогнать от него дух веселья.

...В отверстие чума дохнул ветер, дым от костра прижало к шкурам. Старик закашлял. Кашлял долго, надрывно. На лбу выступили крупные капли пота, как от долгой тяжёлой работы. В чум, припадая на суковатую палку, горбясь, вошёл человек.

Ваули не сразу узнал в нём Тогомпадо. Его большие глаза провалились, широкий багровый шрам от носа до уха собрал в сборку верхнюю губу.

– Тогомпадо? – удивился Ваули и вскочил навстречу другу, обняв его спину, согнутую, как нартовый полоз.

– Надо достать медвежьей желчи, и ноги у Тогомпадо будут сильны, как у молодого оленя, – сказал дедушка Моттий, заметив, как побелело лицо Ваули.

– Я поеду обратно к Хозовыко и распорю его толстое брюхо, – пообещал Ваули.

– Не надо дразнить собаку! Мы добудем медвежьей желчи, и она выгонит из меня хворь. Тогда Тогомпадо покажет, как далеко летают его стрелы!

В чум опасно, по одному, заходили люди, кланялись Моттию Таску и девушке, которая пришла в их род в такое голодное время.

Тученбала в закопчённом, облепленном землёй котле кипятила воду. Лёгкий, еле уловимый звон бус на груди Тученбалы напоминал всем, что в чуме невеста.

«Если бы ты пришла в род Ненянгов раньше, мы гуляли бы семь дней и ночей, мы варили бы во всех чумах мясо и пели тебе песню», – думал старик.

– Надо заколоть одного оленя Хозовыко, – сказал Тогомпадо и достал нож. – Надо запомнить этот день и проглотить хоть по одному кусочку

мяса. Приход в наш род Тученбалы – хорошая примета. Все бегут от нас, а она пришла. Смелая девушка! – говорил он, и все с ним соглашались.

...В чум пришла ночь. Ваули сидел на шкуре, поджав ноги, обхватив колени руками, не решался пошевелиться. Во сне бормотал и стонал Моттий, за чумом жалобно скулила собака.

– Тученбала, – не оборачиваясь, прошептал Ваули. Он не помнил, как очутился рядом с ней. – Мы скоро поставим свой чум. Я буду много охотиться. Ты будешь хорошо жить, Тученбала! – шептал Ваули, обхватив дрожащее тело девушки. – Ты родишь мне сына, и он будет похож на тебя. Слышишь?

Тученбала молчала, доверчиво прижавшись к нему, и сразу где-то далеко остался страх, забылось сытое лицо Хозовыко.

– Почему ты молчишь, Тученбала? Или я говорю тебе не те слова?

Тученбала провела ладонью по волосам Ваули и замерла, прислушиваясь к ровному биению его сердца.

Пригон чужого стада вселял страх, но желание выжить было сильнее. На следующее утро за чумами уже раздавались громкие голоса, окрики. Мужчины искали в деревянных ящиках старую упряжь, чинили наряды. Все будто помолодели, ходили бойчее, разговаривали громче. Даже собаки

осмелели: чаще взлаивали, готовые по первому окрику бежать за нартовым следом, находить запутанные лисами тропки, отыскивать песцовые норы.

Хонзали, ознобивший пальцы ног во время неудачной попытки угнать оленей из стада Хозовыко, всё ещё не мог ходить. Он выполз из чума, присел на шкуру возле него и смотрел на людей, хлопотавших возле оленей.

– Теперь, Ваули, надо гнать в наши родовые пастбища. Они ближе к лесам. Может, потому и пришла к нам беда, что мы отошли от них. – Хонзали говорил шёпотом, вспоминал лицо шамана Ламби, который после большого падежа оленей, по велению духов, заставил отогнать стадо вниз по Катыму. – Там, Ваули, шибко хорошие места. Я хорошо жил в верховьях Катыма. У меня был большой чум, олени.

– Поедем, Хонзали. Тебе запряжём хорошую упряжку, самую сильную, и поедем к верховьям нашей реки.

– Не надо, не говори, Ваули, хороших слов, – Хонзали схватил Ваули за руку и поцеловал её. Ваули вскочил хмурясь, обтёр руку о малицу.

– Ты зачем так, делаешь?

– Не знаю, – ответил Хонзали.

Мысль уехать в родные уголья не оставляла Ваули, но он не смел сказать об этом сородичам. Он помнил, как, гонимые страхом и голодом, лю-

ди покидали родовые пастбища. «Как же теперь пойти обратно? – думал Ваули. – Или все думают, как Хонзали, только бояться высказать? Боятся разгневать духов? Может, мне сказать об этом?»

После бегства шамана Ламби все жили в постоянном страхе, не знали, куда идти, у кого просить защиты. Старшина рода Ненянгов умер в прошлую зиму, никому не передав своего лука и стрел. Он умер ночью, когда узнал, что волки задрали его последнюю выездную упряжку оленей.

После смерти старика будто обессилели и онемели, только Вырпаду – самый высокий и крепкий старик из рода Ненянгов – не терял веры в лучшие дни и уверял сородичей, что осенним ветром пролетит беда над Ненянгами и к ним вернётся счастье. Надо только всем идти к своим пастбищам. Но его боялись слушать.

Встречая Ваули, Вырпаду радостно говорил:

– Вот кто вернёт нас обратно. Ваули ослушается слов трусливого Ламби. Чувствует моё сердце: мы будем жить на родных пастбищах.

Ваули волновали слова старика, в которых жила правда.

Несколько дней кряду он вставал на лыжи и уходил в сторону Гусиного озера. Возвращался усталым, молчаливым. Тученбала присаживалась возле него и тоже молчала. Думы о том, что Ваули

взял её в чум из жалости, чаще приходили в голову, и она украдкой вздыхала.

– Не надо, Тученбала, – говорил Ваули и ласково гладил её худые плечи.

Разыгравшаяся с вечера метель шумела в прибрежных кустарниках, пригоршнями бросала охапки снега в зыбкие стены чума. «Плохо дедушка поставил чум, – думал Ваули. – Видно, не хватило силы покрепче натянуть шкуры».

– Ваули, ты слышишь – упряжка? – припав губами, его уху, прошептала Тученбала. – Вдруг это пастухи Хозовыко? Не отдавай меня, Ваули. Не отдавай!

Ваули схватил лук со стрелами, выбежал из чума. Учув олени, залаяли собаки. Из чумов вышли люди, прислушиваясь к метели.

– Это какая-то упряжка заблудилась в тундре, – уверенно сказал Вырпаду, приложив к уху руку, и побежал в сторону реки. – Я верно говорю. Олени бегут усталые. Разве вы не слышите?

Упряжка оленей подбежала к чумам и остановилась. Коренник – белобокий бык сразу упал в снег. На нарте, запорошенной снегом, вниз лицом лежал человек. Все боялись подойти к упряжке. Столпились, люди думали, что Нумо послал им весть о скорой кончине рода в образе замёрзшего одинокого человека.

– В нём живёт тепло, в нём ещё живёт тепло, – тихо сказал Моттий, подержав руку под шкурой. – Неси его в чум, Ваули. У тебя, быть может, хватит силы поднять человека.

– Плохие, плохие вести принёс нам этот человек! – подвывая метели, голосила старая Сандара и, проваливаясь в снег, бегала вокруг чужой нарты. Её никто не останавливал.

Человек был чужого обличья. Лицо белое, с густой чёрной бородой. Глаза прикрывали косматые брови, под нижней губой с левой стороны была родинка, ноздри заострённого носа изредка вздрагивали, казалось, они улавливали запах тепла.

Ощупывая колени и локти человека, дедушка Моттий охал:

– Долго таскали тебя олени. Совсем мало-мало осталось в тебе тепла.

«Зачем к нам ехал чужой мужик без товаров и водки? – думал он про себя. – На нарте нет ничего, кроме большой книги, завёрнутой в кожаный мешок и привязанной ремнями».

– Тученбала, завари филичью траву. Надо дать ему тундровой воды, а ещё лучше напоить тёплой оленьей кровью, – сказал дедушка Моттий.

Только на третий день чужой человек приоткрыл глаза. Заметив это, дедушка Моттий присел к его изголовью, смочил травяным настоем пересохшие губы.

– Ань торово! – услышал Моттий слабый голос незнакомого человека. Оглянулся по сторонам, не уверенный в том, что с ним поздоровался чужой человек на его языке.

– Не торопись, сынок. Когда придут к тебе силы – откроешь глаза, а пока выпей тундровой воды. Она согреет тебя и даст силы.

Человек силился приподнять голову, вытянул покрывшиеся водяными волдырями губы.

Глава 5

Заседатель Соколов долго думал над тем, кого послать в тундру с комиссией по составлению новых ясачных книг. «Это не просто, надо, чтобы тот человек и язык самоедский знал, и в экономике имел соображение, и в обиходе тут сколько ни крути, а лучше Тихарева не найдёшь», – думал он, посылая за ним писаря Афоню.

Хотя в управе не было никаких предписаний и бумаг насчёт личности Николая Тихарева, но всякий раз при встрече с ним земский заседатель, испытывая на себе его колюче-насмешливый взгляд, думал: «Нет, не простачок. Прознать бы о нём не мешало». Но поскольку для этого ему не хватало времени и желания, мирился: «Мало ли кто кем не был? Бог всё простит!»

А характеру Тихарев смирного, норову кроткого, – успокаивал себя заседатель Соколов, когда

обоз в десять упряжек с каюрами и проводниками выехал из Обдорска.

Впервые за многие годы довелось Николаю Тихареву осуществить свою давнюю мечту – побывать в отдалённых уголках Обдорского края.

Больше двух месяцев разъезжала комиссия по тундре от чума к чуму, от стойбища к стойбищу, а когда свернули к востоку, поближе к лесной полосе, неразговорчивый проводник Пуйко сказал:

– Дальше не поедem. Дальше страшная болезнь ходит. Она унесла к верхним людям род Ненянгов. Рода Ненянгов больше нет. Мы туда оленей гнать не будем.

Утомлённые долгими разъездами и категоричным отказом проводника Пуйко, члены комиссии с радостью согласились не ездить к лесной стороне и на следующий день решили возвращаться обратно. Только Николай Тихарев не был согласен. Он настаивал на необходимости побывать в роде Ненянгов.

– Это в наши обязанности не входит. Наше дело – составление окладных книг, – ответил усталый, с обмороженными щеками писарь.

– Тогда я позволю себе отправиться один, – ответил Николай Тихарев.

Пуйко в ответ закричал, стал говорить, что это место проклято, что из рода Ненянгов убежал даже шаман Ламби.

На следующее утро, когда Пуйко повёз комиссию в сторону Обдорска, Николай Тихарев в надежде на помощь рода Хонгалов, которые каслали неподалёку, погнал упряжку к лесной тундре. Дорога оказалась нелёгкой. К вечеру увидел, что следы уходят вниз по реке, «Значит, Хонгали тоже ушли», – подумал он, и его охватил страх. Оставалось одно – возвращаться обратно по следу. Но мысль о роде Ненянгов не выходила из головы. «Поеду вперед. Поеду по берегу реки», – решил Тихарев. Но он не рассчитал силы. Скоро олени стали часто останавливаться, и он растерялся. «Что же ты раскис, бывалый офицер? Или это испытание для тебя страшнее, чем каторга? Или пеший трехмесячный переход до Обдорска был легче? Бывал же ты один на один с тайгой, с рекой, с морозом. Вторым после попа-расстриги Аввакума ты прошёл пешим берега великой Оби» – уговаривал он себя, призывая на помощь всю силу духа.

Пришёл ещё один день, но и он не сулил ничего хорошего. Снеговое безмолвие удручало, давило. Тянуло в дрему. Он вспомнил рассказы бывалых людей, что олени, с больших расстояний улавливающие запахи дыма, не раз привозили заблудившихся в тундре людей к жилью. Ободрённый этой мыслью, он поверил в спасение. Теперь, как во сне, припоминал пустынный берег, сыромятные ремни, которыми привязывал себя к нарте,

чтобы не свалиться. Он не знает, сколько дней таскали его по тундре олени, но, очнувшись около огня, понял, что жив.

— Ты, Никола? — не скрывал радости Вырпаду. — Разве ты не помнишь нашего старшину Ненянга-старшего? Помнишь, мы приходили к тебе в избу, когда был год большого отстрела песцов? Помнишь, у Ненянга-старшего шибко кружилась голова и ты давал ему пахучей воды? Потом ты рисовал на белой бумаге слова князю Тайшину. У нас в тот год пало много оленей. Помнишь?

— Помню, — чуть слышно ответил Тихарев, прислушиваясь к хорканью оленя за чумом. — А я слышал, что у вас совсем нет оленей, — сказал он. Вырпаду замолчал, потупил глаза.

— Это не наши олени, — пришёл ему на помощь дедушка Моттий. — Мы совсем-совсем умирали. Наш Ваули отогнал оленей из стада старшины Хозовыко. У нас не было ни одного оленя. Мы таскали нарты на своих плечах.

— Где ваш Ваули?

— Он уехал на охоту. Он давно не был на охоте. Он шибко стосковался. Как только солнце пойдёт к реке, Ваули вернётся, — сказал Моттий.

— А где же живут люди вашего рода? — спросил Тихарев.

— Ненянгов больше нет. Ненянги все тут. Мы поставили все чумы вместе. Без оленей жить

далеко нельзя. Без оленей человек – сирота, – натирая ноги растопленным оленьим салом, говорил Хонзали.

– Хорошо сделал ваш Ваули, хорошо. Смелый ваш Ваули, – ответил на это чужой человек.

– Поешь мороженую печень, – прервал разговор Моттий, не желая вспоминать об отогнанном стаде. – Печень хорошо. Она даст тебе силу. Ты, Никола, добрый человек. Ты пришёл к нам, и у нас никто не ушёл к «верхним людям», а Сандара кричала все дни, что Нумо послал нам нарочно замороженного человека. А быть может, это Тученбала принесла с собой радость? Наш Ваули привёз себе невесту. Хозовыко хотел взять её себе в жёны, а Ваули увёз, – не без гордости говорил Моттий.

– Смелый ваш Ваули! – повторил Тихарев.

– Смелый, смелый, – согласился Моттий.

Тихарев взглянул на хрупкую девушку, которая сидела ко всем спиной и чинила чью-то одежду. Слушая о Ваули, Тихарев удивлялся его смелости. Зная родовые устои, подумал, что ему теперь не легко будет прожить жизнь.

Ваули в чум вошёл тихо и, встретившись взглядом с Тихаревым, улыбнулся.

Быстро шли дни. Слушая вечерами рассказы чужого человека о жизни дальних народов, о храбрых бунтующих людях, о далёких землях,

Ваули радовался их встрече. Ему хотелось посидеть с Тихаревым вдвоём, высказать свои мысли, что он, вопреки шаману Ламби, хочет повернуть людей обратно к своим родовым пастбищам, но не знает, как и с чего начинать.

Настал день, когда гость попросил запрячь упряжку отдохнувших оленей, чтобы отправиться в обратную дорогу. Ваули позвал его с собой на охоту.

Они отъехали недалеко от чумов. Ваули положил хорей на колени, поводил по нему ладонью, будто отыскивал зазубрины.

– Какие слова скажешь мне, Никола? – спросил Ваули. – Я хочу вернуться к своим родовым пастбищам, но Ненянги боятся духов. Они думают, что и олени Хозовыко перемрут, если мы ослушаемся слов Ламби. Пока ты хворал, Тогомпадо гонял оленей к родовым пастбищам. Он видел там чужие следы. Это, наверное, лесные остяки хотят взять наши пастбища. Тогда мы совсем будем нищими.

– По-моему, правильно ты думаешь, Ваули. Родовые места надо беречь. На будущий год, когда приедешь на ярмарку, заходи ко мне, – сказал Тихарев.

– Может, и раньше приеду. Надо бумагу писать князю Тайшину. Плохо живёт род Ненянгов.

Зачем князь у Ненянгов ясак просит? Бумагу писать надо, – говорил Ваули.

– Приезжай, Ваули. Я буду рад помочь тебе.

Вечером в чуме мужчины думали, кого послать проводить Николу Тихарева до широкой обдорской дороги. Выбор пал на Вырпаду.

Прощаясь, Тихарев не думал, что кучка одетых в лохмотья людей, согнутых голодом и болезнями, брошенных и забытых в тундре всем миром, так растрогает его при расставании. Он торопливо пошёл к нарте, низко кланяясь всем за доброту и приют.

– Защищай, Ваули, всех бедных людей в тундре. Они все твои братья, – сказал на прощание Тихарев и обнял его.

На следующее утро Ваули попросил дедушку Моттия забить в бубен Ненянга-старшего. Старик испуганно посмотрел на внука, пошатнулся, несколько раз махнул в его сторону рукой и, озираясь по сторонам, сказал:

– Только шаман Ламби может взять в руки бубен старшины.

– Где искать шамана Ламби? Может, притащить его на аркане из стойбища Хозовыко? Но он там ест досыта оленьё мясо, говорит добрые слова старшине и учит, как наказывать Ваули из рода Ненянгов! – Ваули говорил громко, нервно покусыва-

вая краешек нижней губы. – Если не ты, то я сам возьму бубен Ненянга-старшего!

– Что ты надумал, Ваули? Разве мало зла ты успел накликать на свою голову? Разве кто-то поверит твоим словам?

– Поверят! – ответил Ваули, вытряхнул из мешкового мешка почерневший от времени бубен. Моттий закрыл глаза ладонями, упал па колени, но Ваули схватил бубен, выбежал из чума, стал бить колотушкой в тугие, лоснящиеся бока.

Опасливо озираясь, друг за другом выходили из чумов люди. Ваули ощутил волнение. Казалось, всё его существо готово было в эти минуты приподняться, а внутренний голос торопил его, и он властно сказал:

– Люди, шаман Ламби оставил нас, потому что не знает, чем помочь. Мы должны сами думать о себе. Нашему роду незачем идти дальше. Ему надо возвращаться на свои пастбища. На утренней заре мы снимем чумы и погоним оленье упряжки к пастбищам наших отцов... – Ваули тяжело и часто дышал. Потом обтёр рукавом лоб, опасливо поглядел на бубен и колотушку.

«Неужели я потеряю тебя, Ваули? Неужели ты забудешь меня и будешь знаться с духами?» – подумала Тученбала, боязливо поглядывая в сторону мужа, и торопливо убежала в чум.

Послышался говор, крики, плач. Заскрипели нарты. Залаяли собаки.

– Домой! К Катыму! На родовые пастбища зовёт Ваули! – раздавались голоса.

Ваули вошёл в чум поздно. Лёг на шкуры и долго лежал с открытыми глазами.

– Иди ко мне, Тученбала. У меня так болит голова, и я как будто теряю в глазах свет. Дай мне руку твою, – попросил он.

Тученбала чувствовала, как частой дрожью бьётся всё его тело, как липким потом покрылись лоб и шея и влажная рука крепко держала её маленькую руку.

– Помоги мне, Тученбала. Побудь рядом со мной, – шептал Ваули. Глаза его округлились, стали большими, смотрели в небо над круглым отверстием чума. Тученбала не знала, какие слова говорить мужу. Она гладила его руку, припадала горячими губами к холодной колючей щеке, хотела спросить, правда ли он разговаривал с духами, но побоялась и прошептала:

– Хорошие слова ты говорил, Ваули. Я знаю, все Ненянги давно ждали таких слов.

Утро нового дня выдалось солнечным. Лёгкий ветер мёл позёмку. По всему берегу растянулись запряжённые олени упряжки, гружённые снятыми чумами, домашним скарбом, На нарты с высокими бортами посадили детей, покрепче привязав

их ремнями на случай крутых спусков с берегов. Собаки от радости визжали, барахтались в снегу, бегали вокруг нарт. Олени, почуяв окрик каюров, топтались на снегу, колокольчики на упряжке Тогомпадо бренчали звонко, веселя и тревожа всех.

– Чему радуется Тогомпадо? И зачем он повесил колокольца? Или думает, что у других нет бубенцов? Какой нетерпеливый Тогомпадо! – бурчал Хонзали, жалея в душе, что не догадался об этом сам.

Ваули ходил молчаливый и хмурый. Всем показалось, что после вчерашних ударов в бубен он почернел лицом, посуровел во взгляде.

Упряжка Тогомпадо объехала нартовый поезд.

– Ну что, Ваули? Может, пора? – весело спросил Тогомпадо.

Ваули посмотрел на счастливое лицо друга. Шрам на лице Тогомпадо побагровел, по-прежнему кривил верхнюю губу, у самого краешка рта выставлялся желтоватый зуб. Но весёлый взгляд молодил лицо. Спина его мало-помалу выпрямлялась, и Тогомпадо бросил в снег свою палку, хотя всё ещё ходил сутулясь. Зато на упряжке летал, как птица. Казалось, он готов был обнять всю землю, вдохнуть весь воздух, крикнуть на всю тундру и разбудить всех птиц и зверей. Упряжку он нарядил как на праздник. Даже к передним ногам оленя умудрился привязать красные лоскутки.

– Ты поедешь первым, – сказал Ваули.

– Как так? – удивленно спросил Тогомпадо. – Люди будут слушать только тебя.

Но Ваули, подняв над головой хорей, зычно крикнул:

– Хей! Хей! Хей!

Упряжка Тогомпадо понеслась вдоль берега реки в сторону верховий Катыма. За ней тянулась вторая, третья... Округа наполнилась окриками, скрипом полозьев.

Тученбала сидела на нарте, опершись плечом о спину Ваули, вглядываясь в присевшие от солнца сугробы.

– Ваули, смотри. Тут прошел человек! – крикнула она.

Ваули остановил упряжку,

– Какие следы? Откуда они?

– Посмотри. Там, в стороне.

На снегу, запорошенные снегом, были еле видны следы человека. Они шли в сторону леса.

– Кто тут был без оленя и лыж? Куда шёл человек? – сказал Ваули и несколько раз громко крикнул: – О-а! О-а! О-а-а-а!

На его крик вернулась упряжка Тогомпадо. Он ощущал ладонью след и удивленно сказал:

– Тут прошёл человек. – Тогомпадо повернул упряжку к кривостволой сосне, возле которой, как заснеженный ветром куст, стоял покосившийся чум. На месте, где когда-то горел костёр, лежал

человек. На него была накинута оленья шкура, из-под которой выглядывали худые, давно не чиненные кисы.

Ваули отбросил шкуру, похлопал человека по плечу.

– Живой, – прошептала Тученбала, заметив, как человек пошевелил рукой, стараясь спрятать её под себя. Тогомпадо долго вглядывался в заросшее чёрными волосами лицо.

– Это, наверное, остяк Мигри Вайтин. У него на лице так густо растут волосы.

Маленький, худой человек поёжился, захрапел. Трудно было признать в этом человеке знаменитого толмача Мигри Вайтина.

Маленьким мальчиком он был продан русскому купцу, хорошо выучил русский и самоедский языки, вёл вместе с купцом торговлю, но потом затосковало сердце по дому, и он, бросив всё, сбежал в своё кочевье.

– Куда его? – спросил Тогомпадо.

– В нашей тундре и лесах места всем хватит, – сказал Ваули и стал помогать Мигри подняться.

Тученбала поднесла к его рту кусочек оленьего мяса. Уловив запах, Мигри схватил его замусоленными чёрными пальцами.

– В Обдорск ездил, на ярмарку, Песцов много возил, бабу свою там оставил, сына продал. На русскую водку всё сменял. Шибко люблю рус-

скую водку, — дрожа от холода, говорил он. — Не только я, а все пьют в Обдорске весёлую водку и увозят в чум горе. А что мне? Я давно понял: не смогло слово божье укротить моё дикое, вольное сердце. Я сбил в церкви крест, меня били, водили для позора по Обдорску, А я в чём виноват? — вздрагивая, говорил Мигри, силился крикнуть, сжать кулаки, но на это не хватало сил. — Водили по улицам, надев на шею верёвку. — Мигри наклонил голову на бок. На желтоватой коже темнел кровавый след от верёвки. Он замолчал, лежал почти бездыханно.

— Много было народу в Обдорске? — спросил Ваули.

— Шибко долго добирался до своего чума. Последнего оленя заколол у реки Ехта, ночью услышал, как воют волки, ушёл умирать в свой чум, — спешил рассказать Мигри.

— Много было народу на ярмарке? — снова спросил Ваули.

— Много. Как весной уток на озере Нумто. И все, как собаки, хватали меха. — Мигри закашлялся. — Возьмите меня с собой, или я умру в тундре.

Глава 6

Старшина Хозовыко ехал в Обдорск. Сзади к нарте был привязан священный олень белой масти с длинной бородой, с выстриженным кругом

«солнца» на правом боку. Уши и рога его украшали разноцветные лоскутки, вокруг шеи на расшитом ремешке висели круглые молодые колокольчики.

Старшина торопился к князю Ивану Тайшину. Ему, представителю власти над самоедами, он вёз нестерпимую обиду на Ваули, который не только отогнал оленей из его стада, он увёз из стойбища девку, которую он, Хозовыко, хотел взять в жёны. Хозовыко задыхался от злости. «Этот дерзкий парень ловко обманул меня! Говорят, всех оленей раздаёт бедным. Бедных людей в тундре много. Всем не хватит». Пожалуй, впервые за всю жизнь старшина думал и рассуждал о жизни. Раньше, когда он ехал в Обдорск, его веселили мысли о встрече с князем Тайшиным, о вкусной русской водке, о молоденьких девчонках, которых привозили отцы из далёких урочищ. А теперь? «Хорошо жить Тайшину, – думал Хозовыко. – Что он скажет, всё делают русский исправник, русский заседатель. Счастливый Иван Тайшин».

Род Тайшиных остякам и самоедам был известен ещё в начале XVII века, когда царское правительство для проведения ясачной политики сочло необходимым использовать родовую туземную знать. В Берёзовском крае княжескими титулами стали обладать Тайшины и Артанзиевы. В 1768 году сама императрица Екатерина II присвоила им

этот титул. Они пользовались неограниченной властью среди туземцев.

Князь Тайшин был неграмотный, не умел по-настоящему управлять ни собой, ни инородцами, над которыми должен был удерживать власть. Но, постоянно поддерживаемый администрацией, считал себя среди инородцев повелителем. Он часто практиковал не принадлежавшее ему право судить, наказывать розгами и этим держал людей в повиновении. «Хитрый. Шибко хитрый Иван Тайшин, – вздыхая, думал Хозовыко, вспоминая, как князь делал подношения исправнику. – Голову до земли клонит, глаза закрывает, из глаз слёзы толкает. Хитрый князь. А когда к старшине Олу приезжал – как медведь рычал, всё кричал: водку давай! Запорю. Запорю! Теперь пусть Ваули хватает, пусть шибко порет». – Хозовыко прикрикнул на оленей и опять стал думать про князя, завидуя его власти.

«У Ивана Тайшина есть русская круглая тамга, – рассуждал Хозовыко. – Он положит её на русскую бумагу, и все знают – это сказал Иван Тайшин. У Ивана оленей, наверно, больше восьми стад, а Ваули не берёт их. Он тоже боится князя Тайшина».

Олени выбежали на пологий берег реки. Вдалеке маленькими звёздочками светились редкие огоньки придавленных снегом домов. Учув оле-

ней, на берегу залаяли собаки. Из княжеской избышки, стоявшей на самом берегу реки, никто не вышел. Срубленная из брёвен с одним окном и дверью посередине, с крышей на два ската, крытой берестой и дёрном, она часто была пустой. Как только заседатель забывал о князе Тайшине, тот сразу уезжал в свой чум, где у тёплого очага отогревался душой и телом. Но если заседатель узнавал, что Тайшина нет в выстроенной для него избышке, бранно ругался, посылал за князем в тундру.

Приезда Хозовыко никто не заметил. Это обидело знатного старшину. Он не мог сдержать негодования, ругал уставших каюров по всякому поводу. Широко раскрыв скрипучую дверь избышки, еле державшуюся на одной петле, Хозовыко перешагнул порог.

В углу горел чувал, дым столбом тянулся в прорубленное в крыше отверстие. Князь Тайшин сидел у огня, уставив на старшину немигающие глаза. Русский толмач казак Ипполитко Сизиков еле привстал с места, шатаясь, подошёл к Хозовыко, долго тербил рыжеватый ус, пытаясь вспомнить имя старшины.

– Хозовыко! Хозовыко! – закричал тонким голосом князь. – Иди поближе к огню! – Князь хотел было подвинуться, но свалился набок.

– Эко, совсем раскис! – буркнул под нос толмач, когда князь грохнулся на четвереньки.

Тайшин был одет в бархатный малиновый кафтан, княжескую шапку, обшитую галуном, которая слетела с седой головы и валялась рядом на шкуре. Воздух, переполненный запахом пота, прелых шкур, дыма и вина, кружил голову.

– А ты, Хозовыко, не куражся! Ухаживать за тобой, сам видишь, не-ко-му! – протянул Ипполитко по слогам. – Садись и пей! Вишь, все дрыхнут! Всех повалила сердечная! А всё Иван Пятков. Приехал к князю по большому делу, – растягивая слова, говорил толмач. – Учужал, что самоеды рода Карачей свои пески рыботорговцу Степану Мохову собираются в аренду сдать, за 750 рубликов, в два раза дороже, не то что этот. Губа-то у него не дура! Пески эти – слава богу! Во время большого хода от всплесков рыбы река пенится.

Но Хозовыко не слушал Ипполитку. Услышав, что растянувшийся на полу бородатый мужик что-то заговорил, заскрежетал зубами, он подскочил к толмачу и сказал:

– Слушай, слушай! Во сне человек всегда правду скажет.

– Эко ты, стервец какой, – буркнул Ипполитко и подсел к рыботорговцу Ивану Пяткову.

Хозовыко примостился на корточки, растирая одеревеневшие в долгой дороге пальцы рук. «Ну, чего?» – спрашивал его взгляд.

– Ругается! – махнул рукой толмач и повалился на шкуру.

Князь Тайшин проснулся от громких причитаний Хозовыко, который тряс его за плечи, целовал в лоб. На рыботорговца напал чих.

Он долго морщился от щекотливого зуда в носу, ёрзал по шкуре, вздрагивал. Ипполитко дополз до четверти с водкой, налил в кружку и подал рыботорговцу. Тот долго, стуча зубами, пил.

– Вот нажрался! Черти перед глазами плясали! – облегченно сказал Иван Пятков, расправляя бороду.

Услышав голос рыботорговца, Тайшин оттолкнул Хозовыко, приподнялся, стал разглаживать сухими пальцами подол помятого кафтана, отдирая прилипшую чешую. У порога жалобно проскулил щенок.

– Но, ты там, поаккуратнее! – закричал толмач на Хозовыко. – Ишь, разжирел, валится, как старый пень, обулки снять сил не хватает! Экая ты животинушка! – поглаживая щенка, приговаривал Ипполитко. Почувяв ласку, щенок заскулил и, уткнув нос в шею толмача, утих.

– Ваули оленей таскал! Ваули бабу таскал! – уже в который раз говорил князю Хозовыко.

– Какой такой Ваули? – нахмурил ершистые брови князь.

– Совсем молодой Ваули. Из рода Ненянгов!

В эту зиму князь слышал о беде рода Ненянгов и испытывал чувство вины, что ничем не мог помочь им, да и не знал как.

Сказать заседателю боялся, отдать своих оленей жалел. «Хорошо, что взял. Тебе хватит. Сам-то не дашь идохлого», – подумал князь.

Думая так, он с опаской смотрел в сторону рыботорговца Ивана Пяткова, который, оставив дома дела, через Урал санной дорогой приехал к нему, чтобы уговорить род Карачей оставить за ним пески по прежней цене. Но Карачи не соглашались.

– Как там Карачи-то, не передумали? Всё на своем стоят? – обтирая бороду, спросил рыботорговец.

Ипполитко перевёл его слова. Князь будто не понял.

– Уж наши князья умеют держать в повиновении своих холопов, а ты и рот разинуть не можешь. Да что я, зря, что ли, тут твою вонь нюхаю? – не выдержал Пятков. – Угощением занимаюсь? Такую дорогу мотался! Чего молчишь? Я ведь и самому исправнику на тебя пожаловаться смогу!

От его крика князь вскочил, сжал кулаки и закричал в сторону на старшину, сидевшего на шкуре возле порога:

– Майло, отдай пески! Кому говорю, подобру отдай! – от негодования голос князя срывался.

– Не будем давать пески Ваньке Пяткову! Не будем! – тихо ответил старшина, насупился и вышел из избышки.

Князь выбежал за ним, запнувшись о высокий порог, упал. Шапка, обшитая галуном, опять слетела с головы, покатилась по снегу.

– Зови казаков! Зови! Драть будем Майло! – закричал князь Ипполитке. Тонкая шея князя покрылась пупырышками. Маленькие подслеповатые глаза забегали, как задрожали. Он стал кашлять, сморкаться, обтирая руку о малиновый кафтан.

Скоро двое казаков из управы уже шли к княжеской избышке с ременными плётками за поясами. Заметив их, бежали ребяташки. Толмач Ипполитко, пытаясь согреться, прыгал на одной ноге. Натянув шапку на одно ухо, с другой стороны напустил на глаза рыжеватые кудри, чтобы спрятать багровый синяк. Ветхий, рваный тулуп, стоптанные валенки придавали ему жалкий вид, но он смеялся и зубоскалил.

– Вам чего это, щенята синепупые, здесь надо? Брысь! Кому сказал! Ноги в руки – и айда по до-

мам, пока самих не выдрали! Ишь, озорники, сизмальства к страстям привыкаете! — кричал он мальчишкам, прибежавшим к княжеской избушке.

В это время упряжки, стоявшие у берега, сорвались и, бренча колокольцами, понеслись вдоль реки. Раздался громкий крик старшины Майло, погнавшего оленей.

Рыботорговец, сообразив, в чём дело, закричал, схватил за плечи князя и что было силы начал трясти его.

— Уезжают они, уезжают! Образина ты разнесчастная! Чего с тебя взять! Разве только укокошить! Укокошить, как букашку какую! Как козявку! Всё! Всё дело теперь загублено. Плакали мои денежки. Плакали. И всё из-за этого паршивого князька, затрясла бы его хворь падучая! Майло-то умнее его. В тысячу раз умнее. Ну где, скажите мне, где вы этого князя выкопали, а? Кто ему власть-то дал? — кричал рыботорговец. — Пропади ты пропадом со своей властью! Фига у тебя, а не власть! — говорил он, направляясь в земскую управу.

Над городом разнесся звон церковного колокола. Тайшин вздрогнул, забежал в избушку, круто повернул лицо в тёмный угол, где у самого потолка среди копоти и сажки висели иконы святых апостолов Петра и Павла, святителя и чудотворца Михаила-архангела. Стоя на коленях, он вспоми-

нал своё крещение, бородатого синеносого попа и молился усерднее.

Колокол смолк. Князь облегченно вздохнул, а Хозовыко всё молился, вспоминая русского миссионера Агафошку Ситникова, который крадучи заманил его к себе и долго тиранил, повязав на шею деревянный крест, мыл рожу водой, пока он, Хозовыко, не дал обещание креститься и не поставил на русской бумаге свою тамгу.

«Собака. Чистая собака этот Агафощка» – думал про себя Хозовыко, когда в избу князя вбежал пастух Хыля.

Князь, прищутив глаза, смотрел на заиндевелую малицу пастуха.

– Ваули Ненянг гонял твоих оленей! Он взял самых хороших, самых сильных быков!

Редкие брови князя заползали по узкому лбу.

– Ты потерял ум, олений телёнок! – крикнул он. Голос князя сорвался, и он прошептал: – Ты крепко спал, ленивый пёс! Тебя пригрел костёр! Тебя усыпило вкусное сало моих оленей!

– Ваули не воровал. Он взял оленей. В тундре умирают люди.

Князь ближе подошёл к пастуху и стал остервенело хлестать пастуха по щекам. Хозовыко зажмурил глаза.

– Как доехал Ваули до моего стада? Мои олени пасутся в другой стороне! – кричал князь, стаски-

вая с себя малиновый кафтан, с силой толкая его в резную берестяную коробку. Оставшись в замусоленной сатиновой рубаше с выношенными локтями и оторванными пуговицами, в ознобе передернул плечами, торопливо надел через подол меховую малицу, сел к очагу. – Ипполитко, – закричал он. – Таскай скорее дрова.

– Погоди-ишь, – ответил толмач, наливая из закопчённого котелка корм щенку.

– Как Ваули попал в мои стада? – спрашивал князь, от волнения раскачивая двумя пальцами длинный передний зуб.

– Не знаю. Говорят, упряжка Ваули летает по тундре как птица. Все так говорят.

– «Летает как птица!», «Летает как птица!»... – Он повторял эти слова всё тише и тише, потом совсем зашептал их, как заклинания, и глядел на огонь тупым взглядом.

– Ваули твоих оленей погнал в род Неркуги. Неркуги совсем мало-мало осталось, – сказал пастух, но князь Иван Тайшин ничего не ответил. Он думал: стоит ли говорить заседателю Соколову о Ваули, у которого упряжка летает по тундре как птица.

Глава 7

Старшина остяцкого рода Омеол, успевший занять пастбища Ненянгов, был разъярён, услы-

шав от своих пастухов, что хозяева возвращаются в свои угодья. Ноздри маленького носа на широком лице часто вздрагивали. Он расхаживал возле чума, покрытого белыми оленьими шнурами, в длинной белой малице с большим собольим капюшоном. На широком поясе висела кожаная табакерка и целая связка медвежьих зубов.

— Не пущу! Ненянгов к Катыму! — кричал Омеол. — Не пущу!

Сзывают мужчин нашего рода. Мы завернём их обратно! Берите ружья, которые я купил на ярмарке, берите много собак и охраняйте стада. Если кто появится, стреляйте, как в белок!

Узнав от Тогомпадо, что Омеол не только занял их родовые пастбища, а надумал совсем не пускать в них Ненянгов, Ваули сказал Мигри:

— Ты хорошо говоришь по-остяцки. Тебе первому надо ехать к старшине Омеолу. Тебе надо сказать: «Ненянги никому не отдавали своих пастбищ».

— Омеол — злой человек, — ответил Мигри. — Он каждый год продаёт на ярмарке своих жён. Он сильно бьёт своих пастухов. Он злой человек, но я поеду к нему.

Старшина Омеол знал Мигри Вайтина, но считал, как и все, что он замёрз в тундре. Он смотрел на него, как на призрак, но, опомнившись от неловкого оцепенения, спросил:

– Какие новости принёс в мой род Мигри Вайтин? Или твои сородичи тоже выгнали тебя, как купец Кокоулин, и ты пришёл ко мне?

– В тундре много хороших людей, – ответил Мигри. – Я приехал сказать, чтоб ты поторопился отогнать свои стада с пастбища Ненянгов.

Омеол подпрыгнул, как раненый зверь, схватил Мигри за шиворот и вытолкнул из чума.

– Чтобы уши мои не слышали таких слов! Чтоб собаки откусили тебе язык! – кричал старшина и бежал за упряжкой Мигри, посылая на его голову проклятия.

Но прошло не больше пяти восходов солнца, как к чуму Омеола приехала загнанная упряжка пастуха.

– У Омеола больше нет оленей. Их угнал Ваули из рода Ненянгов. Он сказал, что отдаст оленей рода Неркуги.

– Где остальные пастухи? Где они? – спрашивал Омеол.

– Они испугались тебя и ушли каслать с родом Ненянгов.

– Ушли в умирающий род? Каслать с родом Ненянгов? Их околдовал Ваули! – кричал Омеол. – Он колдун. Его надо выгнать из тундры! Его надо ловить! Его надо вязать! Его надо везти к русскому исправнику.

В тундру пришла весна. Солнце ходило по горизонту круглые сутки. Каждая травинка набрала силу. Разметался лист у низкорослых берёз и ив.

Уехав на утиный промысел, Ваули просыпался от криков и гоготания птиц, смотрел, как радуются они прилёту в родные края, как хлопочут над гнёздами. Было что-то трогательное в их суете, порой ему казалось, что какая-то из птиц стонет человеческим голосом, предсказывая беду. Ваули вставал во весь рост, и они, встревоженные его появлением, поднимались на крыло, летели низко над землёй за озеро и там снова поднимали свой гам. «Будто за сердце щиплют», – думал он, прислушиваясь к протяжному стону казарок. Под ногами жулькала и хлюпала вода. К вспотевшему телу липла оленья шерсть от широкой рубахи, сшитой мехом внутрь. Ополоснув озёрной водой шею и грудь, Ваули подумал, что и в этом году ему опять не удастся съездить на ярмарку купить рубаху, Тученбале цветной платок. «Теперь князь Тайшин не простит мне обиды. Да и Хозовыко, и Омеол тоже».

Эти мысли ходили за ним неотступно. По ночам он видел злое лицо князя, который снился ему большим, краснощёким, с мясистым подбородком и обязательно с ременным тензяном в руках. «Пусть злятся, зато Ненянги увидели свет, зато

род Неркуги остался жив», – успокаивал себя Ваули и шёл к лодке.

От лучей жаркого солнца над землёй дрожало лёгкое марево, туманило даль, рябило глаза. Белые, как озёрная пена, облака плыли по небу тихо, будто приостанавливались, чтобы посмотретья в прозрачной воде. Дым от костров стлался по траве, тянулся к реке, плыл возле берега, прячась в косматых ветлах ивняка. У кромки берега стояла Тученбала. Ваули узнал её по высокой фигуре, длинным косам, по размашистым жестам рук, которыми только она умела взмахивать плавно, как крыльями. Он прижал лодку к берегу, поплыл возле кустов, не поднимая вёсел.

Тученбала приложила руку ко лбу, привстала на цыпочки, вглядываясь в даль реки, потом, зажав широкий подол платья между коленями, чтобы не замочить в воде, наклонилась над водой. Кажалось, что она разглядывает речное дно. Потом с шумом хлопнула по тихой глади, начала быстро плескать воду в лицо, обмывать руки и, приоткрыв рот, хватать губами россыпи брызг. Они заблестели на волосах, катились по щекам, носу, подбородку, а она, залитая солнцем, снова и снова хлопала ладонями по воде. Наверно, добрые духи послали её на землю, чтобы радовать его, Ваули. Сердце Ваули заторопилось к ней, а она, вдруг вытянув длинную шею, как вспугнутая гагара, не-

сколько раз обернулась вокруг и, никого не увидев, потянулась, разбросав в стороны руки, как приподнялась от земли, готовая взлететь.

Ваули показалось, что Тученбала может уйти. Теряя над собой власть, он выпрыгнул на берег и побежал к ней, запинаясь о кочки и траву. Тученбала ойкнула, попятилась, но, узнав Ваули, протянула к нему руки, простонала:

— Ваули! Это ты, мой Ваули! Ты услышал мои слова, Ваули? — спрашивала она, обнимая влажными руками его шею. Ваули гладил её волосы и, приоткрыв глаза, видел краешек смуглой щеки, изогнутую бровь, мочку уха, на которой дрожала не успевшая высохнуть капля воды.

— Ваули, — повторила она, и в этом слове, сказанном тихо, была вся её любовь и тревога.

Лодка, оторванная волной, давно отплыла от берега и была на середине реки. Ваули вскочил в стоявший у берега обласок и поплыл догонять лодку.

— Ты торопись, Ваули! Там тебя ждёт какой-то парень! — крикнула вслед Тученбала.

Хочь Морька из рода Мокосе приехал к чумам Ненянгов три дня назад. Когда узнал, что Ваули уехал на охоту, парень пошёл к краю болота, ссутулившись, будто ему на плечи положили тяжёлую ношу.

– Мне поможет только Ваули из рода Ненянгов. В тундре все говорят, что он один умеет защищать бедных людей.

– Кто тебе сказал такие слова о Ваули? – спросил парня Хонзали.

Разве это не правда, что он вернул всех Ненянгов на пастбища своих отцов? Разве не помог он роду Неркуги? Разве ваш род не будет помнить, что он спас всех от смерти?

– Откуда ты знаешь это?

– О, хорошая молва летает по тундре как птица, – ответил Хочь Морька.

...Ваули подошёл к краю болота и увидел на нарте парня, который лежал, уткнув лицо в оленью шкуру. меховая рубашка на спине разорвана, были видны костлявые, обтянутые смуглой кожей плечи.

Шея, искусанная комарьём, покрыта волдырями. меховые кисы раскисли от сырости, на них отопрела шерсть.

– Это ты спрашивал меня? – спросил Ваули, дотронувшись рукой до плеча парня. Тот вскочил, поднял к небу руки.

– О, Ваули! – проронил Хочь Морька, стараясь дотронуться рукой до Ваули. – Мне сказали, что надо только увидеть тебя, и ты принесёшь мне счастье. Говорят, ты сможешь помочь мне! – Лицо Хочь Морьки было бледным. Тёмные тонкие бро-

ви и усики вздрагивали после каждого сказанного слова. – Наш старшина Садом дурит, как весенний медведь. Он пришёл в мой чум и сильно избил мою Еройку. Она лежит, не смотрит на свет, а Садом не хочет шаманить. Он хочет унести её в свой чум! Еройка красивая. Еройка умеет петь такие песни! Поедем, Ваули. Наш Садом испугается тебя. Я слышал, как он ругал тебя. Садом кого ругает, того боится.

– Сколько дней бежали твои олени до наших чумов? – спросил Ваули.

– Сколько лап у песка, – ответил Хочь Морька. – Поедем, Ваули, – просил парень. – Поедем. Садом убьёт Еройку. Он злой. Он сжёт чум старого пастуха Хуна, изрубил у рыбака Ляна лодку. Он делает всё, что захочет.

Дедушка Моттий захворал, узнав, что Ваули послал Мигри за оленями.

– Ох-ох, Ваули. Разве простят тебе старшины такую дерзость? Разве забудут они свои обиды? – шептал старик, боясь за жизнь внука, но понимал, что поступить по-другому тот не мог.

Старшина рода Мокосе – Садом – был высокого роста, с плоским изъеденным оспой лицом, большими, сильными руками. Людей своего рода он держал в постоянном страхе. Узнав, что Хочь Морька, не сдержав обиды, куда-то уехал, долго смеялся.

– Пусть Хочь Морька оставит свои слёзы в тундре! – кричал он. – Я всё равно возьму Еройку. Я возьму её без калыма. Еройку в прошлом году крестили в русской церкви, а за крещёную девку калым не дают! Кто виноват, что Хочь Морька давал её отцу выкуп.

Садому никто не перечил.

Прошёл день, и ещё день, и ещё... Воздух звенел от комариного пения, по траве стлался туман, где-то в болотине кричала кряква.

Старшина всё чаще стал посматривать в сторону, куда угнал упряжку разобиженный Хочь Морька. «Может, он утонул в болоте?» – думал старшина, сидя возле костра. Лай собак спутал его мысли. Садом нехотя встал, отбросил за спину длинные косы, стал всматриваться вдаль.

– Хочь Морька! Хочь Морька! – бежали ребятишки навстречу оленям, искоса посматривая в сторону Садома.

Садом сделал равнодушный вид, снова сел к костру. Но скрыть волнение не удалось: большие крутые плечи то поднимались, то опускались, будто он накачивал в себя воздух, на скулах двигались желваки.

Когда упряжки подтащили нарты к костру, он приподнял голову, прищурил и без того узкие глаза, вглядываясь в незнакомые лица парней.

— Это кого ты привёз в наш род? Я думал, ты привезёшь с собой самого князя, — сказал Садом и захохотал. — Ты кого позвал в наш род? Ты привёз парней из издыхающего рода Ненянгов! Смотрите, люди, это олени, украденные у Хозовыко! У князя Тайшина! Это ворованные олени! — злясь на невозмутимость парней, бегал вокруг костра Садом...

— Не кричи, Садом. Зря ты зовёшь наш род издыхающим. Род Ненянгов будет жить, пока над тундрой ходит солнце.

— К тебе в стойбище приехал Ваули Ненянг! — крикнул Мигри.

Садом попятился. Пальцы на руках зашевелились, рот от удивления раскрылся.

— Вау-ли?.. — с трудом произнес Садом. — Это — Ваули? Кто поверит, что этому парню старики доверили управлять родом Ненянгов? Кто поверит? Пусть на Ваули молится ваш род.

В это время из дальнего чума донёсся крик и, запинаясь о траву, к костру подбежал Хочь Морька,

— Там, там! — показал он рукой. — Там!

Он ничего не говорил, а только махал в сторону чума. В чуме на шкуре лежала молодая женщина. Лицо в багровых подтёках, на губах запеклась кровь, рукой с оторванным рукавом она обняла маленькое холодное тельце ребёнка.

– Садом бил Еройку. Садом бил Еройку. Открой глаза, Еройка! Посмотри, я привёз к нам в чум Ваули, – стонал Хочь Морька, встав перед женщиной на колени, ощупывая посиневшие губы и целуя её руки. – Ваули, это неправда, что Еройка больше не будет жить на земле? Это неправда? Ты, Ваули, знаешь хорошие слова. Мы возьмём Еройку и уедем к вашему роду.

Ваули не мог смотреть на несчастного Хочь Морьку и быстро вышел из чума. Ему казалось, что он не чувствует под ногами землю.

Мигри схватил его за руку.

– Пусти меня, Мигри. Я брошу в костёр одежду Садома. Пусть ветер носит по тундре её пепел.

– Это будет поганный пепел. Вместе с пеплом по тундре полетит его зло. Нет, Ваули, успокойся. От зла всегда приходит зло. – Мигри еле поспевал за Ваули.

Садом, почуяв неладное, закричал:

– Люди, бейте этих воров. Разве вы не видите на боках оленей тамгу старшины Хозовыко? Это приехали воры Ненянги!

Столпившиеся люди никогда не видели таким испуганным своего старшину.

– Ты, ты! Ты сдохнешь от голода! – кричал Садом, увидев, как, пошатываясь, шёл к костру Хочь Морька.

Встретившись взглядом с Ваули, Садом закричал от страха, затряс руками.

– Не подходи, не подходи, Ваули! Я буду звать шамана! Или ты хочешь быть нашим старшиной?

Услышав такие слова от своего старшины, заголосили женщины. Глядя на них, присмирели ребяташки, и только один длинноволосый малыш подошёл к Ваули. Он дотронулся ручонками до забрызганных болотной жижей кожаных кисточек на поясе, потрогал медвежий зуб, висевший возле ножен, улыбнулся, протянув к Ваули руки. Ваули взял малыша и подошёл к костру.

Садом попятился назад от костра к чуму.

Малыш гладил Ваули щеку, что-то говорил на своем, ещё никому не понятном языке, словно успокаивал Ваули, тонкими холодными кончиками пальцев щупал веки глаз, теребил ухо и весело смеялся. Может, его смех вывел Ваули из минутного забытья, но когда он обернулся, то увидел, как, схватив в охапку нарядную одежду, Садом, пошатываясь, подошёл к костру и положил свой старшинский наряд к ногам Ваули.

Стояла напряжённая тишина. Слышно было, как плещет волна о речной берег да часто стучит зубами косматый пёс, уткнув холодный кончик носа в кудрявый хвост. Ваули, поставив малыша на землю, не раздумывая, бросил старшинскую

одежду в костёр. Молчавшие до этого люди разом вскрикнули и побежали кто куда.

– Ты больше не старшина. Твою власть раскидал ветер. Разве ты не видишь это? – сказал Ваули Садому.

Садом безмолвно глядел, как переворачиваются в огне его новая малица, расшитая рубаха, нарядные кисы, и в глазах его был страх.

Глава 8

К осени купцы-рыбопромышленники снаряжали суда за рыбой в низовья Оби. Извечная кормилица Обь. Не будь ты далеко за Камнем, кто знает, что осталось бы от твоих богатств! Может, отсюда и пришла в народ поговорка: «За морем телушка – полушка, да рубль – перевоз». Рыбопромышленники же, большие охотники за зернистой осетровой и стерляжьей икрой, за жирными муксунами и нельмами, за сказочной рыбкой – сосьвинской сельдью, которая поставлялась только к царскому столу, не жалели нерестилищ. Арендуя за бесценок родовые рыбные угодья остяков, нанимали на сезон рыбаков, бондарей, сольщиков и черпали рыбу. Оставляли на берегах выпотрошенных от икры осетров, выбрасывали «уснувших в ловушках лобарей и маломерок. Халеи – северные чайки – тучами летали над рекой, очищая её от тухлой, прокисшей, загубленной молодежи.

Место впадения Иртыша в Обь раздольно-низменное. В любую погоду ветер морщит реку, гонит волны. Иртыш с мутной водой жмётся к правому берегу Оби, как крадётся. Вёрст десять течёт река, будто разделённая волшебным веслом надвое: но одну сторону со светлой, чистой водой, по другую – цвета жёлтого песчаника. Потом волны перемешиваются, на середине пенистый вал бурлит, с силой бросает из стороны в сторону любое судно.

Качало, поднимало на гребень волны бот рыбопромышленника Есаулкова, который по пути в Обдорск решил завернуть к селению Самарово, где были его торговые лавки. Тёмные от воды весла с трудом поднимали судно на гребни волн, а оно, будто поскользнувшись, падало в чёрную пучину. Пассажиры давно забыли про игру в подкидного дурака и с тревогой смотрели друг на друга.

– Ого-о! – застонал сухощавый штабе-капитан, вцепившись тонкими пальцами в край стола, когда в крохотное оконце увидел очередной вал. – Почти как мо-оре! – протянул он, комкая в руке носовой платок и обтирая взмокший лоб.

– Здря поплыл! Здря я поплыл! – охал лысый торговец. – Ведь говорили бывалые в этих краях люди: «Не ездите!» Так ведь не поверил им, дурень! Вон, вон каково! Ещё один налёт ветра – и поминай как звали! Опрокинет судно, не приведи господи. – Он усердно крестился.

Хозяин судна Андрей Прокопьевич Есаулков кутаясь в плащ вышел из каюты, когда между увалами показались низенькие домики. К берегу бежал народ. Накинув на плечи крапивные мешки, потуже опоясав одежонку, люди махали руками, платками, фуражками.

Среди серой толпы купец Есаулков пытался увидеть своего приказчика Еремея Шершеня, который, по обыкновению, растолкав всех, брёл по колению в воде, чтобы первым подать руку своему хозяину. «Может, приболел или делом каким доходным занялся» – подумал купец, не видя приказчика.

Бот медленно подплыл, бороздя днищем прибрежный песок, подгоняя к берегу волны, которые ополаскивали бревенчатые помосты, настилы, гальку и уносили в реку щепье, стружки, кору, птичий пух и перья. «Выволочку Ерёмке дать надо. Чего доброго, всё по ветру пустит. Какой потом с него спрос? Клок волос, да и всё», – думал Есаулков, обтирая глаза от мелкого морсящего дождя. Купец первым сошёл на берег по скрипучим сходням и весело сказал:

– Может, есть у кого желание посмотреть древнее поселение остяцкого князя?

Если честно говорить, то Есаулкову именно сейчас хотелось поближе познакомиться с черноволосой барышней, которая плыла на его боте в

Обдорск. Вела она себя застенчиво, не поддерживала никаких разговоров, на корму выходила редко. Купец давно разглядел её стройную фигуру, укутанную в пуховый платок, густые, свёрнутые на затылке в тугой узел волосы, чистое бледное лицо, на котором жаром горели пухлые губы. Увидев её на борту, Есаулков крикнул:

– Давайте руку!

Она оглянулась по сторонам, пожала плечами. Есаулков стоял в воде в сапогах, широко расставив ноги, в длинном плаще, с непокрытой головой, подставив ветру кудри и бороду.

– Не бойтесь, не уроню! Не выпущу, – улыбался он.

Купец подал барышне большую мягкую руку и, ощутив лёгкое прикосновение тонких холодных пальцев, взглянул на бледное лицо, губы, которые она прикусывала, сосредоточенно разглядывая почерневшие от воды ступеньки. Появилось неудержимое желание взять её на руки и вынести на берег, но, встретившись с её взглядом, купец передумал и шумно побрёл к берегу, буровя воду. Прыгая на песчаную отмель, она запнулась и стала отряхивать длинный подол юбки от брызг.

Есаулков ловил каждое её движение, на сердце становилось радостнее. Будь на берегу Еремейка, он давно ушёл бы с берега в лавки, не обратив ни на кого внимания. «Нет худа без добра – подумал

купец, стараясь встать так, чтобы прикрыть барышню от ветра.

Пассажиры, кутаясь в плащи и пальто, спешили на берег, чтобы отдохнуть от двухнедельной качки.

— Экая непогодь, — сказал купец, оглянувшись. — Тут такие красивые места. Такой вид на реку с тех гор... — махнул он в сторону песчаных увалов, на которых стояли тёмные от дождя сосны.

— По всей вероятности, места тут и в самом деле расчудесные, — старался поддержать разговор купца штабс-капитан, забегая вперёд и сторонясь от телеги, которая увязла в грязи.

Выскочивший на обочину мужик, размахивая над головой вожжами, кричал:

— Ну-на, поднатужься, сердечная! Эко мы и опоздаем к есаулковской посудине! Без соли с голоду подохнем! Ну-ка! Ну-ка! — кричал он, матерно ругаясь.

— Бывает, бывает, — затараторил штабс-капитан. — Мужичье! Налют глаза и не знают, в какую сторону гнать животину.

— Бог ты мой! Какая красавица! — восхищался торговец, стаскивая с лысой головы фуражку. — Вот что значит слово Христово! В какую глухомань долетело, — говорил он, глядя на церковь, выстроенную в византийском стиле, и часовню.

В это время на крыльце церкви показался священник. Увидев толпу приезжих людей, он хотел

было вернуться, но передумал, склонился в почтительном поклоне, прижимая рукой седую бороду.

Признав купца Есаулкова, священник Никифор, как бы извиняясь за непогоду, тоненько проговорил:

— Прямо беда ноне с водой. Залило всё. На десятки вёрст нет сухого места. Вон там, на горе, коровы голодные целые дни базлают. — Неловко переминаясь с ноги на ногу, добавил: — А живём тут сносно. Слава богу, промысел хороший, да и в ваших лавках всё есть. Спасибо, — священник Никифор снова поклонился купцу и побрёл вдоль улицы, приподнимая полы длинной рясы.

— Здесь только шесть торговых лавок. Почтовая земская станция, два питейных дома, — поглядев священнику вслед, говорил Есаулков. но, заметив, что барышня не слушает его, о чём-то разговаривая с торговцем, покраснел. «Что это я, сдурел, что ли? — подумал он. — Нашёл время тары-бары разводить. Приказчика нет. Год целый не бывал в этом крае, а расхаживаю, будто и дела нет. Вот уж, верно, затмение накатило». Он зашагал быстро, не оглядываясь, словно хотел убежать от всех.

— Андрей Прокопьевич! Господин ты мой ненаглядный! — перепрыгивая через лужи, кричал долговязый мужчина в высоких сыромятных броднях, в полупальто нараспашку. Подскочив к

купцу, наклонившись, поцеловал полу его плаща. На опухших веках блестела слеза. — Припоздал я! Припоздал, кормилица мой. Носился по пристани как угорелый. Дай бог здоровья священнику Никифору Васильевичу. Подсказал. «Иди, — говорит, — он, твой-то хозяин, какой-то барышне наше Самарово показывает».

После сказанных слов приказчика купец насупил взгляд, но Еремей не понял его и поклонился барышне:

— Приказчик известного обдорского купца и торговца Андрея Прокопьевича Есаулкова. При его службе состою пятнадцатый год, — и снова поклонился.

— Клавдия Петровна, — ответила барышня, и на щеках её запылал румянец.

— Хватит балагурить. Иди домой. Я вот освобожусь и зайду к тебе, — буркнул Есаулков.

— Как это идти домой?! — обгоняя купца, говорил приказчик. — Андрей Прокопьевич, дорогой наш кормилец, неужто и дальше этой посудиною поплывёте? Евлампий-то Земцов по моей просьбе вам каюк новый приготовил. Торопился к вашему приезду сделать. Другим купцам отказал. Я уж и гребцов нанял и паруса натянул.

— Евлампию Никифоровичу мою благодарность передай и деньги отдай полностью.

Приказчик обомлел.

– Неужто даже чашку чая не выпьете? – сбросив на землю картуз, в отчаянии крикнул он.

Купец молчал, в душе ругая себя, что идёт с людьми, перед которыми не хотелось учинять скандала захмелевшему Еремею.

– Андрей Прокопьевич, дорогой ты наш кормилец, прости меня шалопутного! Истинный бог, нелёгкая попутала. У всего народа спроси: не пивал всю зимочку! А с весны такая тоска напала – удержу нет! Ну хоть по роже ударь, и то мне легче будет! Как так-то: был и уехал, а? Этак ты меня и в могилу угонишь.

– Молись, Еремей, богу, что барышня тут! – процедил купец.

Откровение приказчика удивило Есаулкова. Сколько он помнит Еремея Шершеня, добровольно приехавшего за долги работать в эти края, никогда не видел его таким растроганным и словоохотливым.

«Неужто и он в пьянство ударился, а трезвенник трезвенником был», – подумал, посмотрев на приказчика, купец и заметил, что тот осунулся лицом, под глазами обозначились тёмные круги и только золотистые брови вразлёт по-прежнему делали его взгляд открытым и весёлым.

– Ну как твоя Манефа? – неожиданно спросил Есаулков, стараясь закончить неприятный разговор.

– Моя Манефа молодчина. Седьмого сына мне принесла. Зашли бы, Андрей Прокопьевич, взглянули на моих ребятишек. Один к одному, – обтирая пересохшие губы, говорил приказчик, стараясь шагать нога в ногу с купцом.

– На обратной дороге.

– Думаю, в ночь не пойдёте. Волны на реке расходились, – говорил приказчик.

К великому удивлению всех, хозяин судна заторопился и, не слушая никого, приказал отправляться в путь.

Дул встречный ветер, когда бот отплыл от берега. Еремей Шершень тёр кулаками глаза, махал картузом. Возле его ног топтались шестеро мал мала меньше мальчишек в длинных не по росту пальтишках и, как отец, усердно махали руками отплывающему судну.

Купец стоял на борту, глядел на опустевшие берега, на Еремея Шершню, на которого ни с того ни с сего напала тоска.

В трюме громко спорили захмелевшие мужики, кто-то из них затянул песню, но сразу смолк, как только бот покачнуло, а налетевший вал окатил борт, смыл канат, опрокинул крайнюю бочку,

В другое время Есаулков прислушался бы к разговору мужиков, узнал, кто куда едет, где какие заработки, на какие товары повысились цены, но сегодня он думал о другом. «И что это она пала

мне в ум? – говорил он сам себе. – Или баб мало? Экая былинка, а на вот тебе – думай о ней! Может, оттого в ней и силы, что былинка? – Андрей Прокосьевич поёжился. – Заглянуть, что ли, к коллежскому регистратору в преферанс сыграть? – Но передумал и отправился к себе в каюту. – Интересно, к кому она едет в Обдорск? – Лёжа на мягкой постели, перебирал в памяти знакомых жителей Обдорска. – Разве к иерею? Он ждал жену. Да нет! Попадья не такая должна быть. А может, к солянному приставу? – Он представил краснощёкого мужчину с двумя жирными подбородками. – Такая не для него. Боров боровом. Куда ему такую ладную?

Кто ещё там из образованного общества? Заседатель? Так, у него жена при себе. Фельдшер? Нет! К такому хмырю в эту даль путная жена не поедет! – Думая, он ловил себя на том, что, в сущности, никто из жителей Обдорска не был ему по душе. – Разве что к Тихареву? – от этой мысли купец привстал. Он вспомнил чернобородого мужчину. Знал, что Тихарев давно живёт в Обдорске и, как утверждали все, пришёл пешком из самого Тобольска – К нему! Наверное, к нему! Одна, в такую даль!»

Он вспомнил свою жену, и его охватило чувство зависти. Защемило сердце. «Великая ей забота, как я мытарюсь в этих краях. Такую торговлю

завёл, а ей хоть бы что. А ну-ка её сюда. Сразу скиснет, сразу мигрень объявится. От сытой бабы кроме хныканья да брюзжания ничего не услышишь» — думал он, ворочаясь в постели.

С нижней палубы опять донеслись пьяные голоса. В это время в дверь постучали и показалась лысая голова иркутского торговца, который намеревался поговорить с купцом, узнать поподробнее о торге на пушнину.

— Прихворнул я, — не вставая с постели, ответил Есаулков.

— Извините-с, — попятился торговец и бесшумно закрыл дверь.

Хандра одолела купца. Ему и в самом деле стало казаться, что к горлу подступает тошнота, и, долго не раздумывая, он оделся и вышел на палубу.

Ветер натянул паруса. Белоусый, с чёрными навывкате глазами капитан, заметив хозяина, посторонился, поставил стул. Есаулков сел, ни о чём не спрашивая, и это удивило капитана. Он спросил:

— Не приболел ли, Андрей Прокопьевич?

— Нет, — ответил Есаулков, вороша указательным пальцем пушистые усы, сжимая в кулаке бороду, словно хотел вытянуть её, расправить. Стоило ему убрать ладонь, борода подпрыгивала, кудрявилась, рассыпалась, прикрывала шею и воротник сатиновой косоворотки.

– Сходи-ка ты, дорогой друг, и пригласи ко мне в каюту барышню ту чернявенькую, с которой я на берегу был! – сказал капитану купец.

– И как это? – спросил капитан. Его чёрные глаза повлажнели, белые усы взъерошились.

– А так. Скажи, мол, сам хозяин в своей каюте поджидает, и всё.

– А вдруг не пойдёт, тогда как?

– А как быть тогда, не знал и сам купец Есаулков, но, не дав долго раздумывать, ответил:

– Иди и зови. Сердце у меня чего-то жмёт. И тоска берёт – сил нет.

Проводив его, Есаулков понимал, какую трудную задачу предстояло выполнить капитану. Обманутый в юности, он возненавидел женщин и всю жизнь, до седых волос, прожил бобылем. Его не случайно подыскал в капитаны отец жены Есаулкова, преследуя мысль: узнавать от него обо всех похождениях зятя, каждый год совершавшего длинные путешествия за Камень.

Есаулков поторопился в каюту и посмотрел на себя в зеркало. «Нормально, – подумал он, приглаживая бороду. – Не стар, здоров. Никто меня не забраковал. Плохо вот, комплиментов говорить не научился». В дверь постучали. Есаулков, приоткрыв её, оказался лицом к лицу с Клавдией Петровной. Она стояла перед ним высокая, стройная, с чёрными, сидящими на висках волосами.

– Звали? – спросила она, улыбаясь одними глазами.

– Звал. Сидел-сидел, и такая тоска пришла на сердце, осмелился и послал за вами, – сказал купец, подставляя плетёное кресло.

– И хорошо сделали. Дорога длинная, скучная. Отчего не посидеть. Вы человек бывалый в этих краях, можно сказать, хозяин здешний.

– По правде говоря, хозяин в этих краях господь бог, – ответил Есаулков, открывая коробку с мармеладом. – Он, господь бог, ко всем одинаков. А так жизнь – штука крутая. В этих краях говорят: «До бога высоко, до царя далеко».

– Наш государь знает, куда недругов своих отправлять.

Есаулков замолчал. Он просто не знал, что ей ответить.

– Ну, допустим, шлёт свой гнев государь, так на кого? На бунтовщиков, на непокорных, а кто с делом да с толком едет в эти края – дорога широкая. Раздолья великие.

Клавдия Петровна ничего не ответила, и это совсем смутило купца. Он встал напротив неё, положив руки в карманы, и глядел в её большие серые глаза. Ему совсем не хотелось говорить ни о каких бунтовщиках. Он хотел видеть её, слышать её голос и думать только о том, что они вдвоём.

Но в дверях опять показалась лысая голова иркутского торговца.

— Входите, — вздохнул Есаулков.

Торговец юркнул к столу, поставил маленький бочоночек с мёдом.

— Это от простуды самое верное средство. Чаёк с медом — всё одно что с малиной. В пот бросает, хворь выгоняет. Угощайтесь, — сказал он, присев на табуретку возле порога. — А ночей-то, как я посмотрю, совсем тут нет. Пływём-плывём, а солнце всё подле нас, будто расстаться не хочет или из виду потерять. — Торговец захихикал, потёр ладонями колени помятых брюк. Потом заговорил торопливо о цели своей поездки, подсчитал, какие прибыли должен получить, какую долю из них отдаст дочери, которую собирается сватать, правда, с горбинкой на левом плече, сын городского головы.

Клавдия Петровна поплотнее укуталась в пуховый платок и, откланявшись, вышла.

— Куда вы? — спросил купец, выскочив за дверь.

— Это я виноват, я, — казнил себя торговец. — Вам, наверно, наедине надо побыть, а меня принёс леший. Прямо чёрт толкнул! — Его признания ещё больше раздражали Есаулкова.

Он опять остался один. Ему всё казалось, что в воздухе жил запах от её пушистых волос. «Совсем

ошалел» – ругал себя Есаулков, но не проходило и минуты, как мысли его были снова о ней.

...Он увидел её в день, когда судно стало подплывать к Обдорску. Издали на берегу показались костры, тёмный густой дым от горящей смолы плыл над рекой. Люди толпились, взбирались на крыши, желая разглядеть, кто из купцов первым приплыл к их берегам с большой далёкой земли.

Андрей Прокопьевич видел, как Клавдия Петровна, охватив ладонями локти, лихорадочно всматривалась в толпу, в которой мелькали то ряса священника-миссионера, то мундир заседателя, то яркий кафтан самоедского князя.

– Клава! Клавушка! – нёсся с берега голос. Купец оглянулся и посмотрел на Клавдию Петровну, которая готова была выпрыгнуть на берег через борт. На берегу в долгополом чёрном пальто с кедровой веткой в руке стоял высокий чернобородый мужчина.

– К нему! Так и есть, к Тихареву приехала! – проговорил Андрей Прокопьевич. «Счастливый!» – подумал он и пошёл в каюту.

Глава 9

После возвращения из тундры Николай Тихарев заболел. Глухой удушливый кашель будил его по ночам, сдавливал грудь. Кружило голову, бросало то в жар, то в озноб. Мироновна, маленькая,

бойкая, как синичка, старушка с остреньким носи-ком, торопливо набрасывала на высокий кокош-ник чёрный платок, надевала широкую поношен-ную юбку с большой заплаткой на подоле, подхо-дила к кровати с чашкой, в которой была заварена филичья трава.

— Глотни, глотни, — говорила она, скрестив на груди руки, и смотрела на пожелтевшее лицо сво-его постояльца, на костлявые плечи, выступающие из-под исподней рубахи, беспокойно щипала пальцами кончик головного платка. «Точит его хворь, точит. Так и погаснет человек. Вона и руки дрожат», — думала она, не зная, что ещё принести Николушке, который давно стал для неё сыном.

Стоя возле кровати, она вспоминала пасмур-ный осенний день, когда Семёнко Кунушков, ры-бак с дальних песков, привел к её избушке черно-бородого молодого мужчину с жёлтым лицом, впалыми глазами.

— Изобиходь человека, Мироновна, — пристал он. — Пешим из самого Тобольска три месяца шёл. На песках нашли. Изобиходь, а опосля видно будет.

Семёнко сходил на берег, принёс Мироновне полный куль белой рыбы и ушёл. Ушёл, да так и не вернулся больше. Утонул. Сказывали потом, что вместе с лодкой перевернулся. Николушку она тогда выходила. Так он и остался жить в её из-бушке. Поначалу всех любопытство разбирало,

несколько раз заседатель захаживал, спрашивал, кто да откуда. Напившись пьяным, грозился спросить о нём бумагой в тобольской канцелярии, но, подумав, что не стоит взваливать на свою голову лишние заботы, успокоился.

Николай был одним из непокорных сыновей сельского псаломщика Тихарева. Получив образование и отслужив, он вернулся на родину, в Тульскую губернию, любя, женился на дочери земского учителя Клавушке Сокольниковой.

— Жить бы ему, как всё путние люди, — сетовал отец, перепуганный появлением жандармов. — Не от ума помещичьи усадьбы жёг — от озорства. Это я точно знаю. Хоть и неслух он, а на такое не пойдёт. Мыслимо ли дело — чужое добро по ветру пускать.

— Вина его будет судом установлена, а пока собирайтесь, молодой человек. Поторапливайтесь. Верёвочка-то от вас тянется. Помещик-то Измайлов богат, — говорил жандарм, застегивая и расстегивая ворот мундира. — Силу большую имеет. К самому губернатору вхож.

— Да не может того быть, чтобы Николушка в бунтарях значился, — чуть не плача говорил псаломщик, поглядывая на сына, который стоял возле молодой жены и говорил ей:

— Виноват я перед тобой, Клавушка. Прости меня, душа моя, прости.

Она стояла окаменев. Ей казалось, что нет таких слов, которые надо было сказать Николаю в эти минуты. Все слова, которые приходили на ум, были не те.

– Не тоскуй, Николушка. Сохраню я нашу любовь, – шептала она, прощаясь. – Даст бог, свидимся!

Но Николай понимал, что не так-то просто свидеться. Суд установил его причастие к тайному обществу, к организации поджогов пяти помещичьих усадеб и приговорил к пятнадцати годам ссылки в Сибирь.

Круто повернулась судьба Тихарева. Но совсем неожиданно выпало испытание по дороге в Сибирь. Не так мучительно было переносить изнурительный путь, как самодурство конвойного Михайлы Петрушина, для которого высшим наслаждением были издевательства над ссыльными при спуске телег с увалов и круч в предгорьях Урала.

Заметив очередной спуск, Михайло приказывал ссыльным садиться на телегу и, с размаху ошпарив лошадей кнутом, гнал их с кручи.

Телега подпрыгивала, дребезжала, разгоряченные лошади храпели, неслись под уклон. Несколько раз отваливались колёса, телега переворачивалась, люди летели под откос, калеча кто руку, кто ногу, кто ребра, но Михайло будто не замечал это-

го: непотребно ругался, торопил, исправить телегу и ждал очередного спуска. По приближению к Тобольску Михайло присмирел, подошёл к Николаю Тихареву, у которого была вывихнута нога, полусшепотом сказал:

– Ты уж извиняй меня, не пожалуйся. Я сизмальства люблю лихость.

Но стоило Михайле узнать, что его партию ссыльных не оставят в Тобольске, а направят на поселение необжитых берегов Прииртышья, он снова залихоманил. При одном спуске ему захотелось, чтобы лошади бежали с кручи необузданными, а ссыльные встали на телеги в полный рост. Край кручи Михайло несколько раз объехал на вороном коне, посмотрел на размытые дождями обочины.

– Туто нам, Михайло Егорыч, живыми не встать. Туто нам, видать, и головы положить придётся, – перекрестившись, сказал хворый Павел Огненный, птясь от кручи. – Туто и лошади хребет сломают.

– Захочешь жить – выстоишь, – ответил Михайло Петрушин, размахивая плёткой над головой. – Да давайте поторапливайтесь! Живо на телегу! И чтобы все стоя, а не то сизнова этот фасон повторим. Во, это круча так круча. Сам вижу: дух захватывает.

Николай Тихарев всем существом возненавидел этого человека. Были минуты, когда хотелось схватить Михайлу и задушить.

– Ну, чего как перед смертью замолились? Выпрыгнуть из телеги испужались?

– Да тут лошадь под уздцы не спустить, – стонал Павел Огненный и, зажмурив глаза, полез на телегу. – Спаси, господи, оборони, – шептал он, затягивая мочальную верёвку вокруг опушки пыльных изорванных шаровар.

– Но! но! – кричал Михайло, насвистывая в воздухе плёткой.

Николай Тихарев неожиданно для всех схватил Михайлу за ногу и вмиг повалил на землю, придавив всем телом.

– Погодь, скотина! – закричал Михайло, пытаясь высвободить руку, но Николай Тихарев придавил его так, что скоро у конвоира перехватило дух и он уставил белесые глаза в небо.

– Тиран, – шипел ему в лицо Николай Тихарев. – Удушю, и всё. Семь бед – один ответ, – шептал он, не выпуская из-под себя Михайлу.

– Зачем ты грех на душу берёшь? Съедем мы с этой кручи, съедем, – запричитал Ермил. – Ведь опосля нам жизни не будет. Какое там поселение, после этого все на каторге сгниём. Боже ж ты мой, теперь вся жизнь прахом пошла, – кричал он, взглянув на посиневшее лицо Михайлы Петруши-

на. — Как есть вся, без остатка. — Ермил упал на край кручи и начал биться головой о землю.

— И чего теперича делать будем? И куда мы его теперича? — причитал Павел Огненный, боясь взглянуть на конвойного.

— Скорее в сторону. Скорее гоните лошадей в сторону, — вскакивая с земли, закричал Николай Тихарев. — Кто-то едет по дороге.

Мужики, размахивая вожжами, погнали подводу в сторону, взвалив на неё тяжёлое тело Михайлы Петрушина. На дороге показалась лошадёнка пегой масти, впряжённая в старую колыжку. Возле кручи юркий мужичок вскочил на землю, перекрестился, поднял голову лошади к оглобле, чтобы она не испугалась крутизны, и стал спускаться. На телеге застонал Михайло Петрушин.

Ермил заулыбался, перекрестился, искоса посмотрел на Николая Тихарева.

— Может, развяжем его, а? — спрашивал он.

— Что делаете, нехристи? — намереваясь приподняться, сипел Михайло. — Всё одно за такое дело вас теперь на плаху поведут, али в рудниках сгноят, али на цепях в подземельях продержут.

— Потому и покончить с тобой надо, что всё равно ответ держать. Зато одного гада на земле не будет, — сказал Тихарев, покрепче натягивая верёвки. — Нам теперь что? Воля, да и только. Думаешь, мало по лесам всякого люду скитается? Ду-

маешь, мало вас, кровопийцев, передушили и перевешали?

— Правду, правду ты говоришь, Николушка, — сказал Павел Огненный. — Теперича нам всё одно не жить, так уж лучше скитаться по лесам, чем на каторгу. А годы да труд всё перетрут. Может, ещё в родные края возвернёмся.

Услышав Павла Огненного, Михайло заголосил:

— Простите, ребятушки. Простите душу мою грешную. Ребятёнки у меня, пятеро душ. Один другого меньше. Думаете, я от сытой жизни в этакую дорогу, в Сибирь, отправился, — ревел конвойный, облизывая толстые губы.

— Зарекалась свинья навоз не есть. Перед Тобольском тоже клялся-божился! Тоже простить просил. А теперича? На чистую смерть толкал потехи своей ради, изверг! — осмелев, закричал Павел Огненный, наотмашь ударив Михайлу по зарёванному лицу. — Давайте, ребята, оттащим его дальше в лес, привяжем верёвками к дереву и уйдем, не будем брать грех на душу, — говорил он.

— Воронья тут полно. Растащат косточки, и поминай как звали.

— Нет, сразу порешить надо. Тогда каждого куста бояться не будем. Он сдохнет и всё с собой возьмёт, а мы каждый по своей дороге отправимся. Я пойду к Уральской стороне. Там на заводы всех беглых принимают. Даже если кого и при-

знают потом, то хозяин всё одно не отдаст, а откупится. А ежели на четверых мы один грех возьмём, так по какой доле на каждого придётся?

– Грех берут на душу за путного человека, а за такую падину какой грех! – сказал всё время молчавший Моська по прозвищу Лягушонок и сплюнул в сторону.

– Сжальтесь! – Кричал Михайло. – Откуплюсь.

– Чо у тебя есть, окромя пятерых ребят? – усмехнулся Павел Огненный.

– Да есть! Найду! Думаете, зазря я сюда хожу? Это только вы голодранцы попали. От вас окромя потехи ничего не возьмёшь, а другие-то знали, чем отблагодарить... У других золотишко-то всегда при себе было. Мне эти кручи великой выгодой обходились. Жалованье – это что! На жалованье не проживёшь!..

– Во-во! Мы тебя тоже отблагодарим... за эти кручи, – подхватил Павел.

– Бог шельму метит, – засмеялся облегченно Моська Лягушонок. – Он, брат, всё видит. Сколько верёвочка ни вьётся, а кончик свой выкажет. Ты сам посуди: на кой нам твоё золото по лесам-то бродить? И без золота обойдёмся.

Пока они разговаривали, сгрудившись возле телеги, на которой лежал связанный Михайло, солнце окружило перелесок и спряталось за горой. Со стороны еловника тянуло прохладой. Земля в

этих местах, не прогреваемая солнцем, источала запах пожухлой от сырости травы.

– Туда его и припрячем, – махнул рукой Моська Лягушонок.

– Никола, образумь их, – тяжело дыша, говорил Михайло, моргая густыми ресницами. – За-молви словечко. Только ты и можешь слово пут-ное сказать. Христом-богом тебя прошу. Каюсь, заслужил я эту кару. Заслужил. Да только отпус-тите. Откуплю я ваши души. Честное слово мое, откуплю.

– А как?

– А так. Отпущу вас всех и слова никому не скажу. Всю вину на свою голову возьму. Всю как есть. Скажу, убёгли, когда в кабак зашёл и кутил там дён пять, а покуда схватился, вас и след про-стыл. Пока розыскные пошлют – на то годы уйдут.

– Ага. На словах всё гладко, – сказал Моська Лягушонок. – А как только волю почуешь – сразу хвост трубой, и плакали наши головушки.

– Ребятушки, на колени паду, землю есть буду, только поверьте. Я даже богу за вас молиться стану.

– Перестань скулить, выродок. Сил нету слу-шать. На вот, получай свой кляп, – сказал Павел Огненный, заталкивая в рот Михайлы рогожу.

Со стороны ельника донесло запах прелой хвои. Стайки синиц, весело прощепетав, скрылись за кустами возле дороги. Вороня лошадь Михайлы

Петрушина, привязанная к подводе, взмахивала крутой шеей, перекатывала во рту удила, била по бокам хвостом, сгоняя надоедливых паутов, которые, жужжа, впивались то в истёртый стремянами бок, то в потный пах. Михайло забился головой о доски телеги. Давно не мытые русые волосы закрыли лоб, приподнятая кляпом верхняя губа придавила усы, и они, прикрыв ноздри, душили его.

Четверо оборванных, запылённых, полуголодных мужчин, глядя на Михайлу, думали, что делать. Никто из них, кроме Моськи Лягушонка, никогда не был причастен к убийству.

— Ну чего, братцы? Я хоть и давал зарок не марать руки о кровь, да опять жизнь повернула, — сказал он. — Нельзя такую падину живьём отпустить. На нём ведь креста нет. Он за это золото чёрту душу продал.

Моська Лягушонок, переваливаясь на коротких ножках, подошёл к подводе, ударил круглой липкой ладошкой по щетинистой щеке конвойного:

— Из-за тебя опять грех на душу брать придётся. Ну как жить по-человечески, как? — кричал он в лицо Михайле. — Ведь вы, кровопийцы, сами душу на части рвёте. Ну кто бы о тебя руки марать стал? Кто? Тащите его, мужики, в ельник. Закрою глаза и придушу, как щенка, господи меня прости.

Михайло, умудрившийся вытолкнуть изо рта кляп, заорал:

– Отпустите. Бегите куда хотите. Пусть у меня язык вырвут – имён ваших никому не скажу. – Михайлу трясло, крепкие ровные зубы его дробно стучали. – Ступайте поодиночке. Лучше всего на север идите. К туземцам. Там примут.

– А что, если и вправду отпустить Михайлу, а? – спросил мужиков Николай Тихарев.

– Ты что? Какая на него надежда? Давить его надо, как клопа вонючего! – кричал Моська Лягушонок. – Тащите его в ельник, и всё. Лошадей по жребию разделим. Кому-то одному не достанется – значит, удача не выпала.

– Ты, Микола, чего молчишь? – нахмутив брови, спросил Павел. – Сам всё заварил, а теперь помалкиваешь.

– Ладно, ребята, – сказал Николай. – Забирайте лошадей и поезжайте кто куда хочет. Оставьте меня одного с Михайлой. Раньше двух дней я его не отпущу.

– Негоже так, Николай Владимирович, – проронил Ермил. – Негоже. Порешит он тебя. Не силой – так предательством.

Расстались в одночасье. Через два дня Николай Тихарев попрощался с конвойным Михайлой Петрушиным, и каждый пошёл своей дорогой, обещая всё держать в тайне до кончины жизни.

Николай Тихарев пошёл на север, к берегам Оби. Заходя в селения, просил милостыню, а к но-

чи незаметно уходил. Ночевал в лесу под кустами, или в стогу сена, или под лодкой. Когда стало холоднее, пошли частые дожди, он вышел к рыбакам. Там его встретил Семёнко Кукушков и, откормив рыбой и хлебом, отвёз к зырянке Мироновне, которую знал по родной Печорской стороне.

Николай Тихарев занялся пушным промыслом, как многие жители Обдорска. Охота оказалась для него делом неудачным, и он стал плести корзины. Спрос на них во время путины был большой. Мироновна, получая деньги, складывала их аккуратно в чёрную тряпицу, завязывала в уголок каждую копейку, припасала к зиме.

Покрывалась льдом река, и кучу новых, никому не нужных корзин заметало снегом. Приходили долгие зимние вечера, и Николай Тихарев не находил себе места. Безысходность тяготила его, но одна морозная ночь круто перевернула его жизнь.

В дверь Мироновны кто-то постучал. Она, спавшая на кухоньке за печкой, испуганным голосом запричитала:

— Вставай, Николушка. К кому-то беда пришла. — Засветила свечу, надёрнула на босые ноги меховые кисты, открыла дверь.

В избу ввалились два самоеда. Один из них сразу упал возле порога.

— Потёпка ноги, ноги, — говорил низенький черноглазый паренёк на ломаном русском языке.

Потёпка застонал, когда Николай Тихарев стал оттирать ему снегом пальцы. Ноги Потёпки были костлявые, жилистые, с твёрдыми мозолями на ступнях.

– Потёпка шибко хворает. Потёпка был чуть-чуть живой! Как на охоту будет ходить? – вздыхал парень.

Самоед лежал на своём савике. На плечах лоснилась почерневшая от времени рубаха из оленьей шкуры, коротковатые штаны в заплатках. Одна коса на голове расплелась, и седая прядь закрыла половину щеки.

Мироновна поставила самовар, затопила печь и сбегала за фельдшером, который спросонья ворчал, безгласно ощупывая Потёпку:

– Стоило по такому пустяку поднимать человека с постели. Разве кто в силах помочь умирающим?

Но Потёпка поправился, а в маленькую избу к Мироновне стали ездить люди из тундры целыми семьями. Кто сдавать ясак, кто за мукой в казённые магазины, кто вёз свою обиду или беду князю Тайшину, чтобы он мог по справедливости решить их родовой спор.

Тихарев давно отгородил пряслами крутой косягор к реке, чтобы в загоне можно было оставить оленей без опаски, и не мог припомнить, когда стал говорить по-самоедски. «Наверное, дружба с

ними помогла мне выжить эти годы. Что ещё радостного было в моей жизни!» — думал он, и от сознания, что лучшие годы прожиты, схоронены в этом холодном, суровом крае, к нему подкрадывался страх. Он никогда не испытывал его, не знал, как лихорадочно может биться сердце, как утомительно назойливо может терзаться ум, как в бессильном отчаянии хочется тут же закрыть глаза и не смотреть на мир, в котором нет никакого просвета. «Стлел. Заживо стлел» — точила мысль, когда начинался новый приступ удушья.

Ему вдруг нестерпимо захотелось оказаться на родине. Увидеть широкие хлебные поля, дотронуться до тёплой, прогретой солнцем земле. Поддержать в руках колос, ощутить во рту вкус спелого зерна, услышать соловьиное пение и подышать воздухом, настоящим на мятных травах. При этих мыслях у него закружилась голова, и он, разливая остаток воды, повалился на подушку.

Перепуганная Мироновна обняла его, припала сухими губами к горячему лбу.

— Сынок мой, Николушка! — простонала она. — Не пришли ещё твои годы жухнуть, как осенняя трава. Не пришли ещё годы. Ты ещё на земле своё семя не оставил. Не пустоцветом живёшь, — говорила старуха. — Вон по тебе Сонька-вдова сохнет. Может, рядом с ней сердце своё отогреешь. Осты-

ло оно у тебя, совсем остыло. А в холодном сердце радость не живёт. Сама знаю. Не живёт

– Спасибо тебе, Мироновна. Только у меня жена есть. Может, она и забыла меня, а есть у меня жена. Дома она, на родине, – поведал Тихарев самое сокровенное, томительное и желанное.

Мироновна присела на табуретку, несколько раз перекрестила лоб.

– Сколько лет молчал? – прошептала Мироновна, качая головой.

– Я напишу ей. Напишу письмо, – Тихарев словно очнулся от многолетнего угара. Почему-то всё – и прожитая жизнь в Обдорске, и дорога в ссылку, и пеший побег от Михайлы Петрушина – казалось никчёмным по сравнению с письмом, которое он отважился написать.

Он писал письмо торопливо, помимо воли и рассудка, писал по зову истосковавшейся души. Не перечитывая, быстро запечатал в конверт и подал Мироновне:

– Снеси почтарю Ивану. Он, кажется, сегодня в ночь отправится в ямскую.

После отправления письма Николай Тихарев ни в чём не мог найти успокоения. Мироновна заметила, что он стал чаще уходить за поворот песчаной косы, откуда лучше были слышны колокольчики почтовой тройки.

Почту в Обдорск Иван привозил два раза в месяц, а если мела метель или по дороге попадал весёлый попутчик, он мог неделю-другую задержаться в ямской, отвести душу за терпкой, настоящей на черёмухе брагой. В Обдорск Иван приезжал с видом делового человека, всем почтительно кланялся, знал на память, кому какая пришла бумага. «Экие люди несознательные, — думал он, завидев вдалеке фигуру Николая Тихарева. — Нет, чтобы побыстрее отписку дать, всё тянут и тянут, а человек мается».

Глава 10

Узнав о прибытии судна купца Есаулкова, вся обдорская знать заторопилась к берегу. У Тихарева как нарочно в этот день поднялась температура. Он лежал в постели в раздумье.

— Люди-то все торопятся, — повязывая голову новым цветастым платком, говорила Мироновна. — Всем свидеться охота с Андреем Прокопьевичем. На берегах костры запалили — дым коромыслом. Савелька-приказчик половики собирал, чтобы на берег их постелить. Так, шельма, перед своим господином стелется.

— Пойду и я, — сказал Тихарев, надевая синюю косоворотку с перламутровыми пуговицами и старательно расчёсывая бороду. Проходя мимо низ-

корослого кедрача, обломил упругую ветку с бледно-зелёной хвоей.

К берегу пришвартовывался почерневший от воды бот, на палубе суетились люди, кричали, размахивали шляпами и платками. Перед глазами всё мелькало, и он, как никогда, почувствовал тоску. «Уеду. Будь что будет. Теперь всё равно. Жить осталось недолго», – думал он, пожалев, что пришёл на берег и лишний раз растревожил сердце.

Своё имя он расслышал не сразу.

– Вас, Николай Владимирович, какая-то барышня зовёт, – задирая голову в фуражке с помятым козырьком, сказал проходивший мимо грузчик с рогожим мешком на плечах.

«Не может того быть. Не может!» – подумал он, чувствуя тяжесть в ногах.

– Николушка-а-а, – несло с палубы.

У Тихарева не было сил пошевелиться. Он стоял, собрав всю волю, чтобы не кинуться к боту.

– Боже мой, Николушка, – кричала женщина, запинаясь о песок. Ноги путались в подоле длинной юбки, и, приподняв её, она бежала, не чувствуя под собой земли.

Тихарев, оторопевший от неожиданного приезда Клавдии Петровны, смотрел рассеянno, неловко дотрагиваясь до побелевших висков.

— Я во сне ныне собаку видела, — говорила Мироновна, открывая им дверь. — Ровно так она и прыгала, так и радовалась около его ног. А если кто собаку во сне увидит, первая примета — встреча будет, говорила старушка, подстилая под ноги Клавдии Петровны самотканый половичок.

В низенькой избушке Мироновны было темно. Потолок от времени выгнулся, рамы от частых дождей почернели. На столе шипел и фыркал самовар, потрескивали в печи дрова, редкие блики из поддувала освещали пол и широкую щель возле лавки.

Клавдия Петровна, давно мечтавшая об этой встрече, вдруг растерялась. В её дрожащих губах, в блуждающем взгляде, в остром изгибе правой брови была та тоска, те страдания, которые она пережила за долгие годы разлуки.

— Постарел? — спросил он, целуя ей руки. Она ничего не ответила. Слезы душили её. Она изредка слизывала их с губ и крепко держала его за руку.

Зазвенел церковный колокол. Казалось, он отсырел от постоянных дождей и охрип, как человек. Тяжёлые удары терялись где-то, не слышно было того малинового звона, который наполняет душу и щемит своей песней сердце.

— Я тоже долго не мог привыкнуть, — стараясь успокоить Клавдию Петровну, сказал Николай

Владимирович. – Мне казалось, что он звенит где-то под землёй. Хотя церковь и стоит здесь почти с начала основания города, больше двухсот лет, а почестей великих ей не отдают. Здешние хозяева, инородцы, все живут без слова божьего, почти все некрещёные. Смотрел по переписи 1829 года, так только двадцать два человека из них приняли христианскую веру, а если честно говорить, то и этих силой да страхом заставили.

– Оттого, может быть, и колокол силы не набирает! – заключила Мироновна и перекрестилась.

– Не принимают инородцы чужой веры. Недаром в такой дальний край сам митрополит Фёдор приезжал. Ни дорога, ни слабое здоровье не испугали. Везде по Иртышу и Оби встречали его с почестями, а когда захотел остановить судно у летних Обдорских юрт, то с ужасом увидел на берегу вооруженных луками и стрелами самоедов. Они кричали и грозились его застрелить, если он причалит к берегу.

– Вот безбожники бесстыжие! – воскликнула Мироновна. – Так и не пустили, что ли?

– Так и не пустили.

Он хотел ещё что-то сказать, но кашель перехватил горло. Ладонь, в которой лежала рука Клавдии Петровны, повлажнела, стала липкой, и он поторопился убрать её.

– Прихворнул я, – смущаясь, сказал Николай Владимирович, обтирая носовым платком лицо и шею. Старался сдержать удушье, но не мог:

– Как съездил в стойбище к Ненягам, так и простыл, так и хворает, – говорила Мироновна, подавая настой из трав.

Глава 11

День был хорошим. На каждой ложбинке зеленела трава. Взлетев на ограду низенького одноэтажного дома с потрескавшейся от времени крышей, петух долго хлопал крыльями, готовясь громко заявить о своем присутствии, но лишь просипел и, сконфузившись, юркнул под прясло. Торопился к обедне дьячок Флор Карпов. Он не смог устоять перед соблазном, сдернул с длинноволосой головы шапку, присел возле прясла, норовя сорвать жёлтую купавницу.

В доме с почерневшей крышей располагалась Обдорская земская управа. Из сеней открывалась дверь в коридор, по обеим сторонам вдоль стен тянулись лавки. Коридор соединялся с комнатой небольшой дверью. Под портретом государя стоял стол заседателя Соколова, а у двери, в углу, прилежал писарь Афоня.

Пристрастившись к хмельному, председатель каждый новый день начинал с обхода питейных лавок и приходил в управу навеселе. Натянув одна-

жды самоедские кисы, понял, что в них легко, удобно, и стал носить постоянно, даже летом.

– Подумаешь, мундир! – рассуждал он, широко распахивая дверь. – Кто в Обдорске не знает заседателя? Кто? Ты, Афонька, не знаешь?

Писарь, уткнув нос в бумаги, кивал головой.

– Меня кто-нибудь спрашивал?

– Барышня приходила, – ответил писарь.

– Что ещё за барышня объявилась?

– Да вчера на посудине Андрея Прокопьевича к Тихареву жена приехала.

Заседатель обтёр ладонью опухшее лицо, ощупал густую щетину на подбородке.

– К тому, к чахоточному-то?

– К нему! – ответил Писарь. – Барышня-то какая строгая, городская!

Соколов сел за стол, достал из кармана расчёску, хотел было причесать клочок волос на лысеющей голове, но передумал.

– Ты не знаешь, выдали ему зипун – летний, крестьянского сукна и бродни с онучами?

– Не знаю.

– А знать надо, – ворчал Соколов. – Тихарев – мужик скромный, спросит раз и не придёт больше, а нашему уряднику того и надо. Знаю я его. Завтра же проверь! Да если барышня придет без меня – сам ей печать поставишь. Слышишь?

– Слышу!

Мимо бежал князь Тайшин в своей неизменной оленьей малице. Сбросив с головы башлык, прикрывая ладонью лицо от солнца.

— А ну-ка, Афоня, оклихни его!

Писарь стремглав выскочил на крыльцо и закричал:

— Князь! Князь! Иди, тебя Пётр Силантьевич зовёт!

Князь с порога протянул заседателю засаленную руку, быстрым взглядом оглядел все углы комнаты.

— Не туда смотришь! — сказал Соколов, вынимая из стола штоф. — Сюда смотри!

Тайшин улыбнулся, тихо, как рысь, подошёл к столу.

— Пей! — кивнул Соколов на кружку,

Тайшин не заставил себя упрашивать.

— Где твой Ипполитко?

Тайшин присел на левое колено, вытянул руку вперёд, прокричал:

— Бух! Бух! Гусь! Утка! Бух! Бух!

Заседатель захохотал. Его небритый подбородок вздрагивал, покрасневший нос покрылся капельками пота. Посмотрев на него, Афоня начал торопливо складывать бумаги и украдкой грызть ногти на руке.

— Ты, князь, — с хрипотцой в голосе проговорил заседатель, — рожу свою мыл сегодня?

Тайшин пожал плечами.

– Опять не понял? – На лбу заседателя заползали глубокие морщинки, но Тайшин не уловил особых перемен в Соколове, зашептал ему что-то на ухо. Соколов сморщился.

– Ты же знаешь, болван, что вашу самоедскую речь я не понимаю! – закричал Соколов. – Не хочу понимать! Не хочу по-вашему лепетать!

Тайшин бросился к двери.

– Обожди! – схватив князя за рукав, кричал Соколов. – Ты что же это о Ваули молчишь, а?

Князь, испуганно моргая, молчал.

– Ты, председатель остяко-самоедской инородческой управы! – перемежая каждое слово отборной бранью, кричал заседатель в лицо князю. – Ты когда изловишь этого разбойника, а?

Тайшин понял, что добром это не кончится, с силой выдернул рукав из цепких пальцев заседателя и, по-молодецки выскочив из управы, побежал вдоль улицы, не оборачиваясь.

– Ненянг! Посмотреть бы на него, что ли. Полно их тут ездят. Который? – Соколов сидел, облокотившись на стол, и разговаривал сам с собой. – Который из них Ваули – поди разберись. Говорят, большой и крепкий, как мороз, сильный, как ветер, ловкий, как песец в тундре. А ты что скажешь, а? – неожиданно обратился он к писарю.

Афоня молчал.

– Тьфу, безмозглое племя! – сплюнул Соколов. – Беда ей-богу! Ну как тут не выпить? Слова сказать не с кем! Дураки дураками вокруг. Выпучат глаза, смотрят в рот, паразиты, и со всем соглашаются. Нет, чтобы поспорить! Нет, чтобы голове работу дать! Молчат. Ты, Афоня, как тебя по отчеству-то?

– Егорычем был.

– Чёрт безмозглый. Егорыч! Что ты мне всё время улыбаешься? Я же издеваюсь над тобой. Разве ты не видишь, а? Чтобы тебе хоть капельку возмутиться? Устыдить меня! Такой, мол, ты этакий, заседатель! А тебе всё ладно!

– Привык-с! – ответил писарь.

– Ну и чёрт с тобой! Привык так привык! И не забудь мне, Афанасий Е-го-ро-вич, – «Егорович» он говорил по слогам, будто рыгая, – напомнить завтра, чтобы собрал я всю эту самоедовскую общину. Ротозеи! Сидят по чумам, бьют вшей, а какой-то Ваули торговцев из тундры выгоняет. Может, он и правильно делает, но не его это забота! Слушай, Афоня! – вдруг дружески обратился к писарю Соколов. – Хочешь, я тебе одну бумагу прочитаю? – Он открыл кованный ящик. – Нашего-то князя Тайшина берёзовский заседатель Курочкин в ясачную сажал! – хихикнул Соколов и стал читать: «Курочкин сажал в ясачную и через это срамил родовое начальство обдорских остяков и

самоедов. Хотя, по правде сказать, нет большей важности посадить в ясачную человека, немного чем отличающегося от дикого зверя, но посадить Тайшина в ясачную – значит унижить в глазах родовичей, уронить его власть над ними и затем уничтожить всё влияние его в родовом управлении, в коем он верховный и последний судья: все родовичи ему подчиняются, ибо между дикарями суд в том и состоит – что бы ни сказал старший в роде, то и справедливо. Пятнадцать родов остяцких и тридцать два самоедских считают род Тайшиных первенствующим и старшим над ними, почему племенного царя обдорского уважают как начальствующее лицо». Ясно, Афанасий Е-го-рович, какой властью наделён Тайшин? Пятнадцать остяцких да тридцать два самоедских рода под его властью ходить должны. – Соколов бросил пакет в ящик, встал и пошатнулся. Афоня вскочил, хотел было подхватить его под руку и увидел в окно приезжую барышню.

– Барышня-то снова едет! – зашептал писарь.

– Какая там ещё ба-а-рышня?

– Да та! – крикнул Афоня и, схватив с подпечника большой висячий замок, выскочил на крыльцо, закрывая дверь земской управы. Замок прыгал в руках и не мог попасть в щеколду.

– Заседатель ещё не приходил. У него нонче дел много! – торопился Афоня, убегая от управы,

как утка от гнездовья. — Завтра с утра, пораньше. А сегодня, по моему вразумению, не следует себя утруждать! — И он побежал к реке, проклиная самого себя, свою службу и то время, когда выучился грамоте.

На яру, широко расставив ноги в высоких сапогах, надвинув фуражку на глаза и заложив руки за спину, стоял купец Есаулков. Судно подставило борт к песчаной косе. Грузчики, взвалив на спины тяжёлые мешки, осторожно шли по зыбким сходам на берег. На подводах подвозили тяжёлые бочки с соленой рыбой. Возчики-сезонщики, бородатые мужики, каждый на свой лад кричали на лошадей.

— Эй! Посторонись, полоротый! — размахивая вожжами, кричал возчик на Афоню. Писарь шархнулся в сторону, столкнулся с лошадиной мордой и, сконфуженный, выскочил на яр. Заметив Есаулкова, стащил с головы шапку, стал почтительно кланяться.

— Как здоровье Петра Силантьевича? — спросил купец.

— Спасибо! В полном здравии! — поспешно ответил Афоня.

— Поклон от меня Петру Силантьевичу.

— Скажу, скажу! — кланялся писарь.

К управе он подходил с тревогой. «А ну как не уснул? Огреет чем ни попадя, какой с него

спрос?» – Подойдя на цыпочках к двери, открыл. Уронив голову на стол, председатель храпел на всю управу.

Глава 12

Ленивые, тягучие дожди заволокли небо. Обдоряне потеряли счёт ненастным дням.

– А солнышко должно скользнуть по небу. Не может того быть, чтобы не показалось. Времячко его ещё не вышло! – говорила Мироновна, стряхивая у порога мокрую суконную шаль.

Как ни странно, с приездом Клавдии Петровны здоровье Тихарева с каждым днём ухудшалось. Он не подавал виду: крепился, старался быть весёлым, но напускной бодрости хватило ненадолго, и скоро он слёг. «Как иголку проглотил, – вздыхала Мироновна. – Ровно только и держался до её приезда. Жил мечтой, а оказалась рядом – как обжётся».

Чувство вины перед женой терзало Николая Владимировича. И чем больше Клавдия Петровна заботилась о нём, чем больше окружала его вниманием, тем тягостнее было у него на душе. Её преданность мучила Тихарева, тем более что за эту преданность он мог платить только лишениями.

На приступке печи трещал огарок свечи. Самовар бурлил, тень от полоски пара тянулась по стене к потолку.

Николай Владимирович понимал, что откладывать больше нельзя, что он должен наконец сказать то, что давно хотел сказать, и что днями от Обдорска уйдут последние боты.

– Ты же видишь, Клавушка, я прижился здесь. А новому человеку тяжело. Тебе надо уезжать из этого гнилого места последним судном. – Он старался говорить спокойно, но боялся, что голос его подведёт – дрогнет. – Ты же сама говоришь: рано-вато мне домой возвращаться.

У Клавдии Петровны не хватало сил возражать.

– Ну чего ты, Николушка, – стараясь не выдать тревоги, говорила Клавдия Петровна. – Разве я затем ехала почти на край света, чтобы оставить тебя одного? Мы уедем с тобой вместе. Перезимуем ещё одну зиму и уедем.

– Уезжай, Клавушка. Уезжай, милая моя, единственная. Твоя жизнь всегда придавала мне силы. – Он сел с ней рядом и стал целовать её руки.

«Ах, какую я сделал глупость! Зачем надо было писать? Зачем она приехала? Смотреть на мои страдания... – думал в эти минуты Николай Владимирович. – Ну протянул ещё бы год-другой. Прислали бы уведомительное письмо о моей смерти, и всё».

– И всё-таки, Клавушка, ты будешь умницей. Ты это сделаешь ради меня.

– Быть может, ты разлюбил меня?

– Не гневи бога, Клава! Разве мою любовь к тебе можно измерить человеческой жизнью?

Об отъезде из Обдорска Клавдии Петровны у них больше никогда не заходил разговор.

А жизнь день ото дня становилась труднее. Сбережений Клавдии Петровны хватило только на несколько месяцев безбедной жизни, и она думала о любой работе, лишь бы не терпеть нужду. В её знаниях иностранного языка и музыки в Обдорске никто не нуждался. Работу можно было найти только на рыбных промыслах купца.

Перед тем как пойти к Есаулкуву, она приложила руки к груди, взглянула на образа, взмолилась:

– Благослови меня, богородица! Научи, как поступить!

Есаулковские владения в Обдорске были обширны: далеко вдоль берега стояли рубленые склады, берег гудел от рабочего люда.

Есаулков стоял у подвод. Возле него бегали юркие расторопные приказчики.

Купец почувствовал на себе взгляд, обернулся.

– Ну как живёте-поживаете? Наверное, в обратную дорогу собираетесь? – спросил Есаулков, отводя от неё взгляд.

Хотя всё это время купец был занят с утра до вечера работой, встреча с Клавдией Петровной не выходила у него из головы. Каждое утро он про-

сыпался с радостным чувством, что здесь, совсем недалеко, совсем рядом, живёт эта хрупкая женщина. «Будь она покладистее, – думал он, – разомлей в дороге передо мной – и плюнуть бы в её сторону, может быть, не захотел! А она надо же! Всю дорогу нос воротила. Видать, силу какую-то чувствует, а какую? Любая баба мужем сильна! А какая у этого поселенца сила?»

С реки дул ветер. Большие тёмные волны с шумом хлестали о берег и медленно уползали назад, слизывая, как языком, песчаную отмель.

– Что же мы стоим? Такой ветер сегодня! – сказал Есаулков, спохватившись. – Идёмте в контору. Проходите, Клавдия Петровна! А я всё думаю: поедете вы обратно или нет? Хотел даже у председателя поинтересоваться – говорил он, прикрывая за собой дверь маленькой комнаты и снимая с плеч Клавдии Петровны её ветхое плисовое пальто.

– Я к вам на работу пришла проситься, Андрей Прокопьевич.

Есаулков не сумел скрыть удивления:

– Господь с вами, Клавдия Петровна! Или шутить изволите?

– Серьёзно!

Купец какое-то мгновение молчал.

– Я пришла просить у вас работы. Любой, – повторила Клавдия Петровна, присаживаясь к столу.

– Вы думаете, что говорите? – с раздражением сказал Есаулков. – На моих промыслах работает только чернь! Неужели вы думаете, что я допущу, чтобы в присутствии вас площадно ругались мужики или вы стояли возле неумытых, нечесаных самоедов? Нет, Клавдия Петровна, на такое я не пойду! Я могу вам одолжить денег.

Она молча надела пальто и вышла. «Вот какая! – думал Есаулков. – Встала и ушла! Нет, чтобы посидеть, поговорить, дать мне с мыслями собраться. – Как бы там ни было, а помочь этой женщине было для него великим желанием. Переборов в себе сомнения, он решил сам сходить к Тихаревым. – Не могла же она без согласия мужа прийти наниматься на работу», – рассуждал он, одеваясь.

Мироновна, открыв дверь, попятилась, увидев в низеньких сенцах Андрея Прокопьевича.

– Господи! Гость-то какой! Гость-то какой! – воскликнула она.

Тихарева смутил приход купца. Прожив в Обдорске много лет, он знал, что Есаулков вложил в своё дело немалые капиталы, поставил торговлю на широкую ногу и вёл её исправно. Одним из главных достоинств купца он считал его ежегод-

ный приезд на Север. Приказчики, заготовители, подрядчики трепетали, дожидаясь его приезда. Другие купцы, оставив дялг и ловкачей, довольствовались только прибылями.

Тихарев встал с постели, расчесал густую чёрную бороду, застегнул на все пуговицы ворот рубахи, вышел навстречу купцу.

Мироновна всполошилась: бегала по кухне, лазила в подпол, несколько раз выбегала в сени, доставала припасённые «на чёрный день» запасы.

Купец почувствовал себя неловко, не знал, что говорить и зачем, собственно, пришёл.

Заговорили о непогоде, о небывалом разливе реки. Наблюдая за неторопливыми движениями Николая Владимировича, он заметил нервозность худых желтоватых рук, бледность и отёчность лица, нездоровый блеск в чёрных глазах. «Ясно, чахотка!» – мелькнула мысль, и, как бы в подтверждении, Тихарев глухо закашлял.

– Я, честно говоря, пришёл продолжить начатый Клавдией Петровной разговор, – сказал купец. – Я могу предложить в долг денег, но на промысле у меня для вас работы нет. Не могу я послать её в солельню.

– В долг берут, когда знают, чем рассчитываться, – села напротив купца Клавдия Петровна.

Неловкость рассеяла Мироновна. Она вошла в комнату с самоваром в руках, в нарядном платке и

фартуке. Радость её была безмерна. Ещё бы! В её домишко пришёл самый уважаемый в Обдорске человек. Сам хозяин, кормилец, Андрей Прокопьевич!

У Тихаревых купец засиделся. Он даже и сам не мог объяснить, что заставило его распивать чай, говорить о разных разностях обдорской жизни, но, возвращаясь, чертыхался. «Какое унижение! Какая нелёгкая понесла меня к ним? Нашёлся покровитель!». Но утром через одного из приказчиков передал Тихаревым запечатанный конверт с деньгами. «Никто ещё, голубушка, от денег не отказывался, хотя и говорят, что с милым и в шалаше рай».

— Пойду работать в солельню. Не могу спать спокойно, — говорила Клавдия Петровна, получив деньги от Есаулкова. — Да и работать-то осталось всего несколько недель. Как говорит Мироновна, скоро по реке шуга пойдёт и есаулковские промыслы опустеют.

— Как знаешь, — отвечал Николай Владимирович. — Удерживать тебя я не могу.

Утром, отыскав старую одежку, Мироновна привела Клавдию Петровну в солельню и поставила к лавке, за которой работала сама, пока не изувечила ножом правую руку.

В один из дней к Есаулову подошел нарядчик и робко спросил:

– Какой расчёт писать той барышне, которая в солельне работает? Ума не приложу. Не стану же я ей писать как нанятым за долги самоедам?

– Какой барышне? – взволновался Есаулков.

– А той, которая к нам приходила. Эта, ну что к поселенцу приехала.

– Ты что? Когда она пришла? – закричал купец.

– Не помню. Запомятовал. Знаю, взяла фартук, нож, встала в общий ряд и работает. Хоть сейчас взгляните.

Андрей Прокопьевич быстро зашагал к рублённым складам, прошёл по широкой ограде. По одну сторону стояли пахнущие берёзой новые бочки, чаны, корзины. Возле переломленных плах мужики хлестали вожжами по лошадиным мордам, заводя их под погрузку. Тяжёлый запах перепревшей чешуи, рыбьих отходов, смешанный с гнилью деревянного пола, вызывал у купца тошноту.

Десятка три мужиков и баб, склонившись, стояли над широкими деревянными столами, распластывая спины жирных муксунов. Клавдию Петровну Есаулков узнал издали по наклону головы, по аккуратно повязанному платку. Ему захотелось подбежать, выхватить нож с большой рукояткой и швырнуть в сторону, но он успокоил себя. К столу подошёл тихо, смотрел на её тонкие пальцы, перевязанные белой тряпкой, на безразличный

взгляд, и ему захотелось обнять её, прижать к губам холодные, пораненные пальцы.

– Пришли, значит? Нашли себе место? – не скрывая раздражения, проговорил Андрей Прокопьевич.

– Нашла, – ответила Клавдия Петровна, не оборачиваясь.

– Ну-ну! – ответил он и пошёл, шумно бухая сапогами по шаткому полу.

Нарядчик носился по амбару, толкал в спины самоедок, приказывая кланяться хозяину в пояс. «И как?» – спрашивал его взгляд.

– Пиши, как себе! И ни копейкой меньше!

– Будет сделано! – ответил приказчик, пожимая плечами, и побежал обратно в солельню посмотреть на барышню, которая даже не взглянула в сторону хозяина.

Глава 13

Из солельни Клавдия Петровна уходила поздно. Она шла домой по узкой тропке вдоль забора, тихо открывала с деревянной вертушки ворота, заходила сразу в низенькую, топившуюся почёрному баньку, опускала в тёплую воду руки. Боль жгла изъеденные солью ранки, и, не скрывая своей слабости, она тихо плакала. Мироновна не успокаивала её, смазывала пальцы гусиным салом,

долго дула на них, сложив в трубочку тонкие отцветшие губы.

— Кто это к нам пришёл, Мироновна? — спросила Клавдия Петровна, увидев у забора маленький берестяной коробок.

— Только-только Ваули прошмыгнул! — шёпотом ответила Мироновна. — Завсегда, когда он приходит, у меня душа в пятках. Вот, думаю, явится заседатель. На притчу-то принесёт нелегкая.

Клавдия Петровна заторопилась. Ей хотелось увидеть самоеда, о котором так много говорил Николай Владимирович.

— Наверное, какая-нибудь беда у него. В летнюю пору Ваули в Обдорск не ездит. Они далеко живут, — говорила Мироновна.

Высокий, черноволосый мужчина с лёгким прищуром чёрных глаз, увидев её, встал с табуретки, поправил пояс вокруг меховой рубахи, посмотрел на Тихарева.

— Это, Ваули, моя жена, Клавдия Петровна, — сказал Николай Владимирович по-самоедски. — Как у тебя Тученбала.

Мужчина сдержанно кивнул.

— Чует моё сердце, неспроста приехал Ваули, неспроста, — шептала Мироновна, поправляя на окне занавеску.

Она не ошиблась. Ваули приехал с тревогой в сердце, но, увидев Николая Владимировича в постели, сказал:

— Мы зимой пришлём тебе много медвежьего сала. Мы поедем охотиться в Назымскую тундру. Тебе надо много-много пить сала. Ещё тебе надо пить медвежьей желчь.

Ваули даже и не подозревал, что своим откровением убеждал Тихарева в неизлечимости болезни, и тот в душе был рад, что ни Клавдия Петровна, ни Мироновна не поняли слов бесхитростного самоеда.

— Рассказывай, как вы там живёте, — перебил его Николай Владимирович.

— Плохо живём. Совсем плохо живём, — сказал Ваули, нахмутив лоб. — Совсем недавно Айваседа в озеро толкал. Совсем толкал. — Ваули рассказал, что весной в роде Айваседа пали все олени. Люди испугались, а старшина Айваседа сказал: «Нумо просит в жертву человека». Вначале в мешок из сушеной травы завязали слепого старика Тара, на закате солнца увезли его на середину озера, опустили под лодку. Прошло три дня. Айваседа снова стал говорить, что Нумо просит человека. Схватил маленького ребёнка и сам увёз на середину озера. Люди стали прятать от старшины детей, а он, рассердившись, называл имена сородичей и велел бросать в озеро. К Ненянгам приехал Манчегда и

позвал Ваули к себе в род. Ваули посмотрел на Тихарева, продолжил: – Айваседа был злой, как голодный волк, бегал по берегу и хохотал до сто-на. Айваседа потерял ум, – говорил Ваули.

Тихарев, выслушав рассказ Ваули, не сразу нашёлся, что сказать.

– Совсем плохо живут люди в тундре. Совсем плохо, – сказал Ваули снова.

– Надо требовать от князя Тайшина, чтобы он заботился о вас. Надо снижать цены на русские товары, на хлеб, на соль. Вы платите по два песца в ясак с каждого человека, даже с умерших. У вас нет оленей. Пусть об этом думает князь Тайшин. Ему власть большая дана.

– Хорошо ты говоришь, Никола, – говорил Ваули. – Только разве князь будет слушать наши слова?

– Как не будет! Он тоже отвечает за сдачу яса-ка. А что, если все не будут сдавать ясак? С кого спросят? С него, с князя Тайшина. – Николай Вла-димирович вышел проводить гостя на крыльцо. – Везде есть богатые и бедные, Ваули. У нас, в Рос-сии, народ тоже бунтует. Слышал?

Ваули долго смотрел на Тихарева, не мигая, будто в эти минуты пересчитывал род Ненянгов, Айваседа, Неркаги.

– Мы скажем об этом князю Тайшину. Мы скажем об этом всем старшинам, – Ваули по-

веселел, заторопился уходить. – Мы плыли к тебе за хорошими словами через Обскую губу, – сказал он, надевая летнюю малицу. – Там, под берегом, сидят Тогомпадо, Манчегда. Они не пошли в Обдорск. Они боятся. Они давно не платили ясак.

– Счастливой тебе дороги, Ваули.

– Ты не хворай, Никола. Мы зимой пришлём тебе много медвежьего сала. – Ваули пошёл возле забора тихо, стараясь не вспугнуть у подворотен собак.

Глава 14

Тоскливо и однообразно проходили дни в далёком Обдорске. Только купеческие суда, приходившие за рыбой, вносили оживление.

– То ли дело зимой! – говорил председатель Соколов. – Наедут самоеды – шумно, весело. Кто пьёт, кто ревёт, кто дерётся – всё есть работа, а летом – скукота!

Афоня украдкой поглядывал на него. «И вправду трезвый!» – думал он про себя. Ему показалось, что Пётр Силантьевич стал выше ростом. Мундир, как в лучшие времена, застёгнут на все пуговицы, бритое, без единой морщинки лицо казалось молодым, всегда мутные, неизвестно какого цвета глаза посветлели, даже лысинка среди пышной шевелюры стала незаметна. И только с маленького, словно придавленного, катышка-носа не прошла краснота.

– Чего глядишь?

Афоня, блаженно улыбаясь, изрёк:

– Уж больно вы сегодня пригожий. Пётр Силантьевич! Наглядеться не могу!

– Ладно, ладно! – ответил заседатель. – Ты чего там пишешь?

– Да вот дела всё прибираю, чтобы всё в аккурате было.

– Что это за бумага у тебя в руке?

– Это? – приподняв двумя пальцами листок, спросил Афоня. – Бумага о смерти Тихарева.

– А-а... Надо же! Был человек – и нет, – сказал заседатель, перечитывая акт, написанный ровным, чётким почерком Афони.

«Отлучившись от Обдорска версты на четыре для птичьего промысла, Тихарев на обратном пути умер скоропостижно. Тело привезли в Обдорск, но так как здесь медицинского чиновника не находилось, то к освидетельствованию дела приглашены были господа: соляной пристав, казачий сотник, соборный священник и мещанский староста. При осмотре никаких телесных повреждений не найдено, кроме синей полосы, которая проходила через всю спину. Тело захоронили на городском кладбище».

Перед глазами Соколова вновь промелькнуло бледное лицо жены Тихарева, гроб, иерей, тяжёлый взгляд купца Есаулкова. «И что только тво-

рится в этом мире!» – подумал Соколов, поёживаясь и глядя в окно.

Густой мелкий снег заволок небо. В неутеплённые рамы дул ветер.

– Это так до рождества будет? – сердито спросил председатель, поднося ладонь к широкой щели между рамой и косяком. – Ух, лодыри! Всё надо носом ткнуть!

– Да Пронька пакли не несёт. Говорю ему, говорю. Я хотел, как в хороших домах: бумагу припас, клейстер сварил, чтобы оклеить, а пакли нету!

– Я завтра тебе оклею, если не будет сделано! – доставая из шкафа недопитый штоф, пообещал Соколов.

– Будет сделано, Пётр Силантьевич! Я вмиг к Проньке сбегаю.

– Обожди! Составь компанию!

– Не! Не-ет! – попятился писарь. – Я с неё дурею. Маменька говорит, что я плачу сильно да всё удавиться хочу. Ну её! – махнул он рукой, поглядывая на кружку.

– А может, попробуешь? Не умрёшь! – настаивал председатель.

– Не знаю, что и делать! – мялся писарь. – Уж если только из уважения к вам!.. Опосля меня рвота мучает да дрожь по телу так и бегает! – переводя дух, сказал Афоня.

– Редко пьёшь!

– Право ваше слово, Пётр Силантьевич, право слово! Вон другие-то мужики! Им хоть бы что! Напьются и песни базлают. А мне в голову как ударит! И сразу мысль: отчего я мало денег получаю, да дома своего не могу купить, да лошадь сменить не могу. И зачнёт меня душить обида. А маменька всё говорит: женись, возьми в жёны Настю. Девка она сиротская, смирная, набожная. А я себе на уме. Неохота мне брать в жёны бедную девку. Как-никак я учёный. Писарем служу. Мне бы в жёны барышню надо.

– Ну, будь здоров! – ответил: заседатель.

Афоня поморщился, глубоко вздохнул, зажмурил глаза и опрокинул кружку.

– Вот и молодец! – хлопнул Соколов писаря по спине. – Будешь пить, скорее невесту выберешь. Меньше разглядывать будешь, пьяному каждая баба красавицей кажется. Я только недавно углядел, что подбородок-то у моей рябой. – И Соколов захохотал.

Афоня покраснел, сел на стул.

– Вот уже и подходит! Вот и слышу, – зажмурив глаза, говорил он.

– Кто подходит?

– Да водка! – крикнул писарь. – Она во мне как живая ходит. Слышу, как по всему телу гуляет. Скоро и в голову придёт. Прямо беда!.. Пётр Си-

лантьевич, я всё хочу вас спросить, да боюсь. Правда, что купец Есаулков зимовать тута остался?

— А ты бы его и спросил.

— Все бабы болтают. — И писарь тоненько засмеялся, уронив голову на стол.

— А ты больше уши распускай, сам бабой станешь! — строго ответил заседатель и тяжёлой походкой пошёл к порогу.

На улице уже разгулялась метель. Густой мокрый снег облепил дома, заборы. Соколов втянул голову в воротник, закрыл ладонью глаза. «И что же творится в этом мире! — снова подумал заседатель, понимая, что купец Есаулков совсем не без причины остался на зиму в Обдорске. — Какие там, к чёртовой матери, дела! А то без него тут приказчик не управится. Неужто в самом деле симпатию к жене Тихарева возымел? Чёрт его знает. Я бы на его месте глаза сюда не показывал. Пропади он пропадом, тот край со всеми богатствами!»

Сам того не желая, заседатель снова вспомнил хмурый осенний день, телегу, на которой лежало тело покойного поселенца Тихарева, его жёлтое, с заострившимся носом лицо, тонкие пальцы рук, к которым с горькими причитаниями припадала старушка Мироновна:

— Пога-ас... Видно, смертушку почуял — ушёл с глаз, сердешный...

– Это подумать только, Андрей-то Прокопьевич так и остался зимовать, – говорила худощавая женщина с бойкими глазами и еле приметными корявинками на подбородке. – Кто их поймёт, этих мужиков? Жена-то, небось, заждалась, а он хоть бы что! Остался, да и только. И сколько я ни допытывалась у своего, так он хоть и распяным-пьян бывает, а никогда про это не заговорит. Как скажу что супротив Андрея Прокопьевича, зверь зверем становится. Не твоё, говорит, ума дело! Тебе, говорит, такое отродясь не понять! Вот и возьми его! Я, почитай, всю жисть с ним. Здесь как на ссылке живу, а благодарностей никаких! – жаловалась заседательша.

...В кухне уютно. Большая голландская печь дышит теплом.

– Ты давно эти половики ткала? – спросила матушка, разглядывая на полу яркие самотканые дорожки.

– Из дому привезла. У нас крепостная Малашка, так ей цены не было из-за этих половиков. Каждый норовил её купить. Только мы ни за что! От неё доходу получали боле, чем от цельного стада коров. Утром только проснёмся, а у неё опять дорожка выткана. Да всё наряднее! Только этот раз пишут в письме, что руки у неё отнялись. Вот тебе и работница! Корми теперь! – вздохнула заседательша.

Матушка молчала.

– У Андрея-то Прокопьевича, рассказывают, жена-то такая барыня!

– Ещё бы! В таком богатстве купаться да барыней не быть! – ответила матушка. – А ты вот всё сама да сама! Или девок у тебя нет?

– Да ну их к лешему! Как рядом крутятся, так хоть себе рот зашивай. Ничего сказать нельзя! По всему городу разнесут: то одно заседательша говорит, то другое. Уж я таскаю их за косы, нет, всё одно сплетни так и ходят из дому в дом, и всё будто я говорю. Вот хоть бы про Андрея Прокопьевича. Только успела вслух подумать, а уж по городу как в пушку выстрелили. Сколько греха, сколько греха было дома!..

Стараясь успокоить хозяйку, матушка, посмотрев в окно, сказала:

– Летечко-то пролетело, не успели и глазом моргнуть.

– А вчерась Пётр Силантьевич позднёхонько пришёл. Я уж и ждать его перестала. А он приходит и говорит со злостью: «Развалилась в тепле, а вот самоедка с грудным ребенком подле берегу замёрзла». А при чём тут я? – опять жаловалась заседательша. – Я ведь не самоедка, не привычна, как они, в снегу спать!

– А по мне хоть какой человек будь, – проба-сила матушка, – а жильё у него всё одно должно быть.

– Ну кто же ей тут жильё-то строить будет?

– Ежели край самоедский и город самоедский, так и должны думать о них. А так, ясно, кто их ночевать пустит? Все вшей боятся, да и вони от них полно.

– По-вашему, заседатель должен строить?

– Я не говорю про Петра Силантьевича. Я просто так думаю. Всё одно люди они. Ясак с них берут, стало быть, про них и думать надо.

– Навезли торговцы вина и меняют потихоньку, каждый самоед пьянёхонький ходит. Оттого и мёрзнут.

– На то у нас управа есть! – опять сказала матушка. – Слово-то какое! У-пра-ва – управлять, значит, всем должны!

– А что, у вас всё делается по порядку?

– Наше дело божье. А только господь бог на земле всех людей равными нарёк: и меня, и тебя, Евдокия Павловна, и эту замёрзшую самоедку.

В это время дверь широко распахнулась. По полу, как дым, пополз холодный воздух, заседательша взмахнула руками и хотела было закричать на Петра Силантьевича, но, увидев сзади батюшку и высокую фигуру купца Есаулкова, заулыбалась.

— Мой-то опять навеселе, — шепнула она. — Вишь, как шеперится в дверях. Всю избу выстудит. Проходите, гости дорогие, — засуетилась она, — самоварчик только вскипел, хорошо с холоду!

— Самоварчик! Ишь, в такую-то погоду гостей чайком вздумала греть! — пропыхтел заседатель, стаскивая мундир. — Чайком-то уж вы балуйтесь, а нам чего-нибудь погорячее надо.

Купец Есаулков раздевался медленно. Снял соболью шапку, шубу на беличьем меху с большим бобровым воротником и манжетами, повесил на оленьи рога, долго расчесывал окладистую кудрявую бороду. «Во-он какой! — с раздражением думала заседательша. — Чего остался? Такому ли мужику быть одному?»

— Мы, хозяйюшка, ненадолго, — сказал купец. — Так сказать, союз организовать надумали, по случаю скорого рождества.

Матушка раскатилась смехом:

— Да до рождества-то ещё дожить надо!

— Доживём!

Горничные девки по знаку хозяйки накрывали стол. Появилась осетрина заливная, икра зернистая и стерлядь копченая.

Поправляя на плечах пушистые буфы у кофты, со взбитой причёской, к столу подошла хозяйка.

— Ты куда это так вырядилась? — не скрыл удивления заседатель.

Евдокия Павловна покраснела.

– Хороши пельмешки с чесноком! – протянул батюшка, шевеля широкими ноздрями.

Пётр Силантьевич, набычив лоб, глядел на Андрея Прокопьевича, недовольно хмурился, вспоминая, что именно перед ним состоялся непутёвый разговор с князьями и старшинами. Вспомнил, как князь Семён Артанзеев сплёвывал в ладонь перепрелый табак, князь Тайшин, разомлев от жарко натопленной печки и почесывая шею и грудь, говорил толмачу Ипполитке, что самоеды низовой стороны и с верховьев Катыва совсем не сдают ясак, потому что боятся Ваули Ненянга. А он, заседатель, кричал, не сдержавшись: «Опять Ненянг? Кто в тундре хозяин? Вы или Ваули Ненянг? Кого государь в князья произвёл, а? Кому печать вручил? Кому подарки для себя собирать разрешил? Пиеттомину? Или Тайшину и Артанзееву?» Князь Тайшин с не меньшим раздражением отвечал: «Ловить Ваули надо! А как ловить? Ваули не зверь, капкан не поставишь!» Соколову было не по себе, что всю эту перебранку слышал Андрей Прокопьевич. И сейчас он раздражался, жалея, что пригласил купца домой.

– Вот я ненавижу собираться дома! – неожиданно для гостей сказал Пётр Силантьевич. – Даже водка и та мне в горло не лезет. То ли дело, вы-

пьешь где с мужиками! Душе и мыслям простор. А тут что? Обжорство только! Поел да и спать иди.

Хозяйка побледнела.

– Ерунду говоришь, милый человек, – поспешил возразить Андрей Прокопьевич. – Зачем тогда человеку семью заводить?

– А, по-моему, – не унимался заседатель, – тогда дома хорошо, когда жена не только о тепле да о еде думает. А это не всякой дано.

– Много ты радуешь меня со своей пьянкой! – не выдержала Евдокия Павловна.

– Вот оттого, чёрт возьми, и пью! Домой идти неохота!

Батюшка, зная крутой нрав Петра Силантьевича; незаметно моргнул своей жене, стал потихоньку вылезать из-за стола.

– Да куда это вы? – всполошилась Евдокия Павловна. – Даже чаю не выпили, а я шанег напекла черемушных.

– Ну и скатертью дорога! – сказал заседатель вслед батюшке, почёсывая волосатую грудь. – Всё равно при людях не пьёшь, а я доподлинно знаю, что каждый день после молебна церковь бородой подметаешь! И правильно, Андрей Прокопьевич, ты сделал, что домой не поехал. Хоть годочек отдохнёшь от своей го-лу-буш-ки!

– А чего ты вытребовал меня? – вскинулась заседательша. – Письма горячие писал: «Помираю.

Свет белый не мил!» А теперь по-другому заговорил!

– Зря ты так, Петр Силантьевич, разгорячился!

– Бесстыжий! Всех оконфузил! Кто теперь к нам пойдёт из путного общества? – плакала Евдокия Павловна.

Глава 15

Зима пришла на редкость лютая. Морозы враз сковали болота, переморозили реки. Воздух звенел от каждого шороха. Нахлебавшись ухи из сушёной рыбы, Моттий Таск вышел из чума покормить голодных собак. Он долго стоял на ветру, хватая ртом воздух. В глазах стояла синь, во рту горечь. Разглядывая опухшие руки, думал: «Опять идёт голод. Надо ехать на ярмарку, везти пушнину. Может, Ваули добудет песцовые шкурки? Нет, Ваули нельзя ехать в Обдорск. Шибко много у Ваули врагов». Старик всё чаще думал об опасностях, которые грозили теперь его внуку.

Эти мысли пришли к Моттию Таске, когда, по его подсчётам, охотники должны были вернуться с охоты. «Может, охота хорошая. Может, зверь увёл их далеко», – успокаивал себя старик, но, узнав от Вырпаду, что к мостам охоты Ненянгов проехали сборщики ясака, а вместе с ними старшина Неруй, задумался. Он знал Неруя по рассказам охотников. Его имя упоминали, когда в тундре

терялись молодые девушки. Неруй, маленький старик, никогда не бывал на праздниках, не жил рядом с родичами, а ставил свои чумы неподалёку от Обдорска, торговал с купцами, продавал им украденных в стойбищах девушек-самоедок и жил в милости у князя Тайшина. «Совсем не напрасно поехал Неруй. Совсем не напрасно», – вздыхая, думал Моттий.

– Наверное, буран будет, – сказал он, морщась и стараясь скрыть от Тученбалы свою озабоченность. – Щенки на спинах по снегу катаются, и у меня все кости ноют.

Растирая ладонями колени, Моттий украдкой поглядывал на осунувшееся лицо Тученбалы. «И почему в моей голове часто стали жить плохие мысли?» – думал Моттий, снова выходя из чума. Прикладывая друг к другу сухие ладони, он подставлял их к уху и старался уловить дальние шорохи.

...Охота Ненянгов в родовых урочищах была удачной.

– Нынче ясак сдадим за всех, – говорил Тогомпадо, складывая подсохшие беличьи шкурки в кучи по сорок штук. – Нынче муки купим.

Но ему никто не ответил.

– Разве я неправду говорю? – спрашивал он, разглаживая ладонью затвердевший шрам на лице. – Разве мы не поедем на ярмарку? Ну чего вы

все молчите? Смотрите, как много у нас мехов! Их хватит на всё. Ну чего ты молчишь, Ваули? Или не рад?

– А тебе не кажется, Тогомпадо, что к нам бегут чьи-то упряжки? – спросил Хонзали, поднимаясь со шкур,

Тогомпадо спрятал беличьи шкурки в кожаный мешок.

В добрые времена Ненянгги не задумывались, кто и зачем едет в их урочища. Тогда всем было ясно: ехали люди по пути, остановились погреться у огня. Теперь, когда к Ненянггам все забыли дорогу, каждая упряжка вызывала опасение.

– Подвинься, Ваули, я сяду рядом с тобой, – сказал Тогомпадо, когда упряжки остановились.

В чум, запинаясь о длинные полы «гуся», вошёл незнакомый человек.

– Что так не приветливо встречают Ненянгги сборщика ясака Феофана? У вас, знают все, нынче хорошая охота, – сказал приехавший толмач Гыда.

– Когда мы умирали, в нашу сторону не бежала ни одна упряжка! – ответил Хонзали, счищая жир с беличьей шкурки. Он неловко провёл ножом и пропорол шкуру. Бросив её в огонь, обтёр нож о голенища кисов, спрятал в ножны.

– Богато живут Ненянгги, – сказал Феофан толмачу, стаскивая дорожную одежду.

– Еле-еле выжили, – ответил по-русски Митри. Феофан повернул бородатое лицо.

– Там ещё чьи-то упряжки? – спросил Тогомпадо прислушиваясь.

– Бегут, – равнодушно ответил Гыда. – Там ещё мужики едут?

– Какие мужики?

Но Гыда будто не услышал его, достал из меховой сумки большую книгу Феофана. Сборщик ясака уселся поудобнее, положил на колени окладную книгу податей бродячих инородцев и начал перелистывать страницу за страницей.

– Зачем торопишься? Завтра посмотришь книгу, – сказал Ваули. – Теперь надо греться, надо мясо есть, надо спать ложиться. Зачем сейчас читать бумагу?

Тепло разморило сборщика ясака. Он почувствовал, как тело наливается тяжестью. Хотелось снять с ног кисы, прикорнуть на шкуре. Но Гыда помогал листать ему большую книгу, в которой Феофан никак не мог найти род Ненянгов.

– Тут где-то, тут.

– Вы должны песцов толстых 247, песцов тонких 247, – говорил Феофан, отыскав наконец нужную запись. – Надо же иметь такие долги!

– Ты совсем потерял ум! – закричал Мигри посамоедски. – Откуда Ненянги возьмут столько песцов? Нынче промышляют белку.

– Наши старики опухли от голода, – говорил Тогомпадо. – Твоя книжка говорит неправду. Мы не будем платить ясак за тех, кого нет в живых.

Ваш род – давнишний должник. Если в этом году не сдадите ясак, вас силой увезут в Обдорск и будут пороть перед народом, – говорил Феофан, проводя по книге пальцем.

– Мы не сдадим в ясак даже рыжей белки, – вставая, сказал Ваули. – Не отдадим, пока твоя книжка не будет говорить правду. Род Ненянгов еле-еле выжил. Кто дал ему хотьдохлого оленя? – голос Ваули дрогнул. Ему хотелось выгнать из чума сборщика ясака, но переборол гнев и сказал: – Поезжай, скажи князю Тайшину: Ненянги не отдадут в ясак ни одной белки.

– Напрасно, – протянул Феофан.

Гыда, всё время вертевшийся возле Феофана, вдруг громко выкрикнул:

– Там, там! – выскочил из чума. Это был его знак старшине Нерую.

Враз рухнул деревянный остов чума, придавив всех оленьими шкурами. Заорал сборщик ясака Феофан, угодив от неожиданности рукой в горячую золу очага. Хонзали, выползая из чума на животе, услышал голос Неруя:

– Здесь Ваули. Ловите его. Только одного его!

– Беги, беги, Ваули! – закричал Хонзали, распарывая ножом шкуры чума.

Поднялась невообразимая суматоха и толкотня. Трудно было понять, кто где.

– Хватайте его, вяжите! – Маленький косолапый старик размахивал кулаками, бегал и топтался вокруг поваленного чума, под шкурами которого барахтались и путались люди. – Не упустите его.

– Беги, беги, Ваули. Они приехали за тобой! – кричал Хонзали. – Прыгай на упряжку.

В воздухе засвистели тынзяны. Перепуганный сборщик ясака на четвереньках полз под нарту. Встревоженная собака лаяла ему в лицо, а он, зажмурившись, кричал осипшим с перепугу голосом:

– Брысь, брысь! Пошла вон, окаянная!

Сборщик ясака Феофан, встретив Неруя, не подозревал, что он поехал к стойбищам Ненянгов выполнить просьбу князя Тайшина – изловите, и привезти в Обдорск Ваули.

– Что вы делаете? Так и задушить можно, – кричал он, не вылезая из-под нарты, когда по снегу поволокли заарканенного самоеда.

– Да не Ваули это. Не Ваули! – орал Неруй.

Кто-то перерезал ремни на нартах, на снег вывалился собранный ясак. Самоеды, запинаясь о шкуры, разбрасывали, втаптывали их в снег.

– Беги, Ваули! Беги! – кричал Тогомпадо, но крепкий тызьян, просвистел петлём, стащил Ваули с нарты.

Острая стрела Ямо насквозь пронзила грудь самоеда, бросившего тынзяна, но это не помогло освободить Ваули.

– Гоните оленей! Гоните оленей! – кричал Неруй, вскочив на нарту. «Только бы успеть выехать на наезженную дорогу», – думал он, ёрзая на нарте.

Ваули очнулся от криков.

– Гоните упряжки в сторону Обдорска. В сторону Обдорска, а вы поезжайте к Низовой стороне. Нигде не останавливайтесь, не жалейте оленей, – слышал он.

Тело ныло, крепко привязанное к нарте. Сидевший спиной самоед, не переставая, махал хоре-ем, бил по бокам и спинам оленей. Оборачиваясь, обтирал меховой рукавицей закиданное снегом лицо Ваули.

– Только бы не подох. Только бы довести до Обдорска, – услышал Ваули. – Десять дней не открывает глаз, десять дней не ест, в теле чуть-чуть живёт тепло. Князь Тайшин не даст тебе ни одного оленя, если Ваули умрёт по дороге.

– Хорошо хоть Ненянги отстали. У них, наверно, передохло много оленей. Думал, вот-вот догонят. Хотел второго сбросить с нарты.

Из этого разговора Ваули узнал, куда его везут. Хотел пошевелить руками, но они были связаны, словно попали в крепкие капканы. Заледневшая малица больно тёрла щёку, и только от

узенькой полоски меха возле подбородка было тепло. «Это Тученбала пришила лапки песка – вспомнил Ваули, на миг представил её взгляд, радостный возглас, которым она всегда встречала его с охоты.

– Тученбала, – попытался произнести он вслух холодными, будто одеревеневшими губами, но не смог.

Тученбала совсем не спала. Стоило закрыть глаза, как ей слышались то окрики пастухов, то храп бегущих оленей. Она вскакивала, садилась на шкуры и слушала, как у чума скулит собака... Тоска подкрадывалась, щемила сердце. В такие минуты она чаще вздрагивала от сильного толчка в животе и, придерживая его рукой, выходила из чума.

Хромоногий пёс прижимался к ней, обнюхивал, лизал руки.

– Перестань! Не скули! Скоро твой хозяин вернётся с охоты!

Но стоило Тученбале сделать шаг, как пёс задирал кончик чёрного носа и снова скулил.

«Плохая, шибко плохая примета», – думал Моттий Таск, ворочаясь с боку на бок.

Бег упряжек первым услышал пёс. Он завизжал, запрыгал, завилял кудрявым хвостом. Тученбала мимоходом схватила меховую шапку и побежала по снегу, проваливаясь.

«Отчего не слышно голоса Ваули? Почему не его упряжка несётся первой к стойбищу? Где Ваули?» – думала она, не в силах бежать дальше. Ветер трепал подол платья, разметывал в разные стороны косы, а она стояла, скрестив на груди руки.

Вот остановилась упряжка Тогомпадо, потом подъехал Хонзали, Ямо. Но все они не смотрели на Тученбалу, прятали от неё глаза.

– Где Ваули? Где вы оставили моего Ваули? – закричала Тученбала, падая на снег.

На следующее утро монотонно загремел бубен. Его удары разносились по берегам Катыма. Они возвещали, что в холодном чуме Тученбала родила сына.

Глава 16

Настроение у председателя Соколова было отвратительное. «Сдурели самоеды, совсем сдурели! Как жить собираются? Ясак не сдают. Не будут же шкуры жевать! Всё одно менять надо!» – думал он, перешагивая через сугроб на проезжую дорогу. Ещё издали заметил высокую фигуру купца Есаулкова, поёжился, вспомнив свой пьяный бред, но сворачивать в проулок не стал.

Есаулов шёл, наклонив голову, а перед ним вертелся, как избитая собачонка, приказчик Савелий. «Что уж он так? Да на улице, да принародно!» – подумал председатель.

– Ну прости меня, Андрей Прокопьевич. – ревел приказчик. – Прости. В убытке ты не будешь, а всево мово сбереженью всё одно не хватит, чтобы за этот сахар рассчитаться с тобой.

– Не позорься, иди по-людски – говорил Андрей Прокопьевич, мимоходом поздоровавшись с заседателем.

«Так их, так их, этих приказчиков. Никогда с них спроса не было!» – думал Пётр Силантьевич, испытывая неприятное чувство. Его оскорбил пренебрежительный взгляд купца. Он не знал, что стряслось с Савелием, какую промашку заметил в нём купец, но видать, струхнул приказчик не на шутку. Томления заседателя были недолгими – писарь Афоня тут же доложил, что купец приказал отхлестать приказчика Савелия плётками за испорченный сахар, который он ссыпал в неочищенный ларь и продавал инородцам.

– Крутого нрава Андрей Прокопьевич! Никаким слезам Савелия не поверил. Приказал выпороть, и всё! И ведь не ушёл, пока при нём не исполнили экзекуцию, – сказал Афоня.

После этого у Соколова совсем испортилось настроение, не захотелось даже идти в питейный дом, почему-то представилось, что в какое-то время его самого вот так же отхлещут за недоимки и недоставку в казну ясака. На душе стало муторно.

– Петруша, ты не забыл? Завтра Рождество, – сказала Евдокия Павловна, когда он явился домой.

– Помню, помню, – ответил заседатель.

Рождество в Обдорске справляли весело и шумно.

На деревянных столбах около катушек горели разукрашенные фонари. Люди, взобравшись на вершину, мчались с шумом и визгом, прихватив на лету попутчика. Над катушкой стояла снежная пыль. Разряженные барышни, в дорогих шубах, с пышными песцовыми воротниками, в собольих шапках, катались на кованках. Какой-нибудь лихач на оленьей шкуре обгонял их, сшибал с кованок, и они на юбках катились вниз. Вокруг стоял хохот. В стоптанных валенках стоя нёсся с катушки толмач Ипполитко Сизиков, размахивая рваной шапкой и распевая озорные песни.

Скоро появились ряженные. Кто-то, обрядившись генералом, катился, как сноп, вниз головой, его догонял развесёлый турок. Он несколько раз перевернулся через «генерала», с головы слетела чалма, и все узнали в ряженном Илюшку-псаломщика. С самой вершины катушки летел большегрудый, с красным гребнем петух, махал руками-крыльями и кукарекал во всё горло. Женщины от радости хлопали в ладоши.

– Где наш Иванушка-дурачок? – кричал «генерал», вставая.

– Дурачок? Где наш дурачок? – подхватила толпа, но дурачка нигде не было.

Купец Есаулков пришёл на катушку в разгар веселья. Увидев его, бросилась навстречу заседальша, схватила под ручку и, смеясь, повела к игрушкам, которые в тайности от всех делала со своими девками. Щёки её румянились на морозе, мелкие кудряшки, выбившиеся из-под песцовой шапки, заиндевели, даже на крохотных ресничках появился лёгкий снежный пушок.

– Радость-то какая! Веселье какое! – радовалась она, прислушиваясь к весёлым нескладухам Ипполитки Сизикова, исполняемых под гармошку.

Но Андрею Прокопьевичу потехи казались убогим, и заседательша быстро заметила это.

– У вас, наверное, из-за Савельки настроение плохое? Так и надо лупить. Пусть знают хозяев, – говорила она, пытаясь заглянуть в глаза купцу.

Андрей Прокопьевич ничего не ответил, глядя поверх головы заседательши в сторону.

– Ну уж не забудьте чуть попозже зайти на чашку чая. Грех в такую ночь рано ложиться спать, – тихо попросила Евдокия Павловна и обернулась в ту сторону, куда смотрел купец.

Поодаль от толпы стояла жена умершего поселенца Тихарева. В длинном бархатном пальто с маленьким воротничком вокруг шеи, она улыбалась Ипполитке Сизикову.

Не скрывая своей ревности и неприязни, заседательша отвернулась. Она знала, что купец Есаулков остался зимовать в Обдорске из-за Тихаревой.

— Не видно вас нигде — сказал Андрей Прокофьевич, подойдя к Клавдии Петровне. — Будто и из дому не выходите.

— Дни короткие — ответила она.

Он стоял с ней рядом, чуть касаясь рукой плеча ветхого пальто. Хотелось взять на руки эту молодую застенчивую женщину, унести, согреть и позабыть обо всём на свете. Она почувствовала его волнение, заторопила Мироновну домой.

— Сегодня у заседателя вечер. Я приглашаю вас. Я буду ждать вас, Клавдия Петровна.

Она покачала головой.

...В доме заседателя было тепло и уютно. Гости усаживались на мягкие диваны, кто-то грел руки у голландки, хозяин расписывал партию преферанса. Дамы в платьях, сшитых по последней моде, с широкими рукавами и буфами, степенно обсуждали обдорские новости, не забывая ревниво оглядывать друг друга.

— Пять взяток! — слышался голос хозяина.

— Шесть! — парировал иерей.

Андрей Прокопьевич изредка поглядывал на дверь. Вот она широко распахнулась, и, побрякивая колокольчиками, в дом ввалился долгождан-

ный Иванушка-дурачок. Раздались восторженные крики, хлопки. В широком балахоне, в цветных шароварах, в нарядном колпаке, под самодельную свистульку он выплясывал трепака. Бубенчики, нашитые по рукавам и подолу, звенели заливисто.

– Ай да Иванушка! Ай да русская твоя душа! – Кричал батюшка и начал ловить юркого плясуна.

– Последняя новость! Последняя новость! – убрав изо рта свистульку, крикнул Иванушка-дурачок. – Самоедского вора поймали! Самоедского главаря связанным привезли! – И снова пустился в пляс, насвистывая «барыню».

– Чего-чего? – насторожился заседатель, откладывая в сторону карты.

– Самоедского главаря связанным привезли! – весело крикнул скоморох.

– Ваули Ненянга, что ли? – спросил заседатель.

– Петруша, ты куда это? – взмолилась заседательша. – Послушай-ка, как девки наши поют!

Но Пётр Силантьевич одевался.

– Экая беда, самоеда изловили! Куда он денется? – крикнула Евдокия Павловна.

– Много ты соображаешь, – ответил ей муж, хлопнув дверью. «Сколько лет тундру в страхе держит? Может, даст бог, и спокойствие придёт», – думал заседатель, подходя к управе.

Глава 17

Во дворе управы ругались обозленные долгой дорогой каюры. Маленький, богато одетый самоед носился от одной нарты к другой, размахивая руками. «Не иначе как он изловил Ваули», – подумал заседатель. Шум и толкотня вызывали у него раздражение. Открыл дверь и увидел у порога двух туго связанных ремнями самоедов.

Афоня по праву хозяина расхаживал возле них, заложив руки за спину и брезгливо сморщив нос:

– Из-за такой нечисти, можно сказать, весь праздник испортили, понимаете ли.

От выпитого вина у писаря пылали румянцем щёки, нижняя губа от чьего-то неосторожного толчка на катушке припухла.

Увидев Петра Силантьевича, он вытянулся, опустил руки по швам. «И как это я не сообразил Ипполитку с собой позвать? И зачем я припёрся сюда?» – стал ругать себя писарь, испугавшись вида заседателя.

В широко распахнутую дверь вбежал князь Тайшин, за ним ввалился толстый, как осенний бык, старшина Хозовыко. Не обращая внимания на заседателя, они бросились к связанным самоедам.

– Перестаньте вы, дикое племя! – закричал Соколов, схватив за косматый башлык Хозовыко и отбрасывая его в сторону.

– Ваули! Ваули! – кричал князь Тайшин, хватая за руки заседателя.

– Вон все из управы! Во-он! Хватит на сегодняшний день маскарадов! Завтра станете судить своего Ваули. Завтра! – закричал Соколов, выталкивая всех за двери. – На кого их оставим? – размышлял заседатель. – Одних оставлять нельзя: чего доброго самосуд учинят.

– Всё в самом аккурате будет, – улыбаясь ответил Афоня, довольный своей расторопностью. – Я, как услышал на катушке о поимке Ваули, сразу казаков позвал. Они скоро тут будут.

– Молодец, – похвалил писаря Соколов, взял со стола лампу и пошёл посмотреть на привезённых из тундры самоседов.

– Они хоть живые? – спросил он Афню.

– Да живые. Они живучи. Я даже отседова вижу, что одного-то ресницы от свету дрожат. Вона у того, который росту побольше.

Увидев обмороженные лица, порванную во многих местах одежду, стоптанные кисты, Соколов усомнился, что кто-то из них мог быть тем Ваули, от которого не раз плакали старшины. А жители тундры боялись сдавать в казну ясак без его слова.

– Неужто, Афоня, эти могут держать в страхе всю тундру? – спросил заседатель.

– Бог их знает. Видно, могут. Здря бы молва не летела. Здря бы князь не дрожал.

В управу ввалились двое захмелевших казаков.

– Это нам не работа. Самоеды – народ смирный, говорил долговязый казак, отыскивая на косяке крючок. Увидев за столом заседателя, икнул, попытался выпрямиться.

– Рождество – праздник христовый. Грех про него забывать. Грех, – бормотал казак.

Возвращаясь домой, Соколов испытывал неприятное чувство досады, что с ним бывало редко. «Ну что мы после этого стоим и значим, если вот такой таёжный человек держит нас в страхе и может испортить мне всю карьеру?» – Соколов сплюнул ворсинку от оленьей шкуры, которая оказалась на его губах, несколько раз обтёр их носовым платком. Сам не зная для чего, обернулся назад. В окне управы тускло горел свет. Мимо пронеслось несколько оленьих упряжек. «Носятся, нехристи. Будто тоже рождеству рады, а сами, идолопоклонники, и знать не знают, что это за праздник, лишь бы глаза налить», – подумал он.

Оставшись в управе одни, казаки принесли к порогу свечу – посмотреть на пойманных самоедов.

– Ишь, связали-то вас как! – сказал долговязый казак, ощупывая ремни на руках Мигри.

– Может, ты нам есть дашь? – приподняв голову, спросил Мигри, приоткрыв воспалённые веки.

– Во, Ермил, слышь? По-нашенски, по-русски, говорить умеет. Слышал? Есть просит. А у нас тут князь как балбес, сколько лет живёт, а всё за собой Ипполитку таскает. Слышь-ка, Ермил? Самоед-то есть просит.

– Сегодня грех людей не кормить, – ответил долговязый, ещё не в силах остановить напавшую на него икоту.

– Ну ладно. Ты тогда сиди, а я вмиг за сырками сбегая. Заодно и сами поедем.

Ещё слышны были шаги Ермила, а в промёрзшем окне показалась чья-то косматая голова. Она поднималась, и человек в обмёрзшей малице оглядывал пол. Казак протёр кулаками глаза, вскочил и заорал:

– А ну отходи от окна, не то пулять буду!

– Тогомпадо! – закричал Мигри и начал кататься по полу, пытаясь освободиться от ремней.

– Лежи! – казак схватил валявшееся возле печи полено. В это время вбежал Ермил, бросил под лавку несколько мороженных сырков.

– Двери запирай! Двери! – кричал ему казак, набрасывая на двери крючок. – Их, этих самоедов, видать, ослободить собираются. Мы тута и головы положить можем.

– Чего мелешь? Сивухи нахлебался?

Услышав возглас Мигри, Ваули догадался, что за ними приехали соплеменники. Часто забилося

сердце. Ваули знал, что стоило ему оказаться за дверью, упасть на чью-то нарту, и тогда никто не догонит их. Он напряг все силы, но ноги одеревенели, крепко стянутые ремнями. Однако желание быть свободным, оказаться рядом с теми, кто искал его, гнал упряжки много дней и ночей, оказалось сильнее крепких ремней.

Раздался оглушительный грохот: Ваули в одно мгновение вышиб дверь, упал в сенцах, запнувшись о порог.

От страха истошно кричал Ермил.

Долговязый, суется, силился поднять самоеда:

– Экая силища-то! Экая силища. Косяк переверотил! И сам, однако, убился! И как это его угораздило встать? – удивлялся Ермил, от возбуждения выбивая дробь зубами.

Мигри кричал, а в двери стучалась самоеды, оленьи упряжки окружили управу. Ермил с перепугу схватил ружье и выстрелил. Ваули лежал в беспамятстве...

Мионовна прибежала в избу перепуганная. Оставив ведра с водой на улице, она стояла на пороге и долго не могла сказать ни слова.

– Ваули! Ненянга! – растягивала она трудное имя.

Клавдия Петровна не могла понять её волнения.

– Ваули изловили. Да так, видать, били... Но я его по обличью сразу признала. Бабы в управу бегали, и я с ними, – на самоедов смотреть. А это оказался Ваули.

Клавдия Петровна съежилась.

– Мне покажись, он признал меня! – закрыв лицо руками, говорила Мироновна. – Вот кабы Николай Владимирович был, может, что-нибудь придумал, а теперь? Говорят, ему каталажка и каторга будут. Разве только одно: идти к Андрею Прокопьевичу. Только разве он, питаючи к вам любезность, выслушает и не осудит. Больше никого нет.

Глава 18

С утра земская управа была непривычно полна народу. Старшины ближних родов, богатые самоеды-оленщики, князь Тайшин и просто любители поглазеть возбуждённо галдели – ждали суда над Ваули, такого суда, какого ещё никто не видел. Князь Тайшин в мыслях уже подсчитал, за сколько дней они соберут ясак – и он, наконец, будет жить в мире с заседателем.

– Передай им, Ипполитко. – сказал Соколов, приметив на пороге толмача, – пусть не толкуются: Ваули будут судить в Берёзове. Поедем скоро, олени заказаны.

Ипполитко перевёл всё в точности, не забыл добавить от себя:

– Нос у вас ещё не дорос, чтобы его судить, ясно?

Поднялся галдѣж. Разгневанный князь Тайшин крикнул что-то заседателю, плюнул в сторону Хозовыко.

Неруй со злости ударил хореем пастуха. Казаки, не желая ехать в дальнюю дорогу, ругались:

– Подумаешь, птицу изловили! Своей властью не могут расправиться.

Да и заседателю Соколову не особенно хотелось ехать в Берёзово, но делать было нечего: в присланном осенью письме исправника было ясно сказано: «...того разбойника Ваули при поимке доставить в город Берёзово».

Урядника Шахова трудно было узнать. Давно мечтавший явиться в Берёзово при исполнении служебных обязанностей, он ходил с видом озабоченного человека. Его пышные рыжие усы, как два беличьих хвоста, доставали до ушей и были аккуратно расчесаны, в плечах чувствовалась сила, и казалось, что большой «гусь», сшитый на заказ, вот-вот расплзётся по швам.

– Несите кандалы, и к чёртовой матери все ваши ремни! – кричал он казакам.

Ипполитно Сизиков, увидев связанных самоёдов, посторонился, забрёл по колено в снег. «Эка большущий какой Ваули! По виду ему надо быть князем», – подумал толмач и посмотрел, сравни-

вая, на князя Тайшина, который всё еще не мог успокоиться и громко ругался на всех.

— А ты чего глазеешь? — крикнул на Ипполитку заседатель. — Чего в дорогу не собираешься?

— Да тамо-ко полно всяких толмачей, — проговорил Ипполитко.

— А ну-ка, живо! Чтобы одна нога там, другая — тут, — распорядился заседатель. Станем там чужих толмачей искать!

— А мне что?! Только подпоясаться, — засмеялся Ипполитко.

Упряжки тронулись.

Первый перегон в тридцать вёрст олени неслись вмах. Еле приметная оленья дорога пересекала сора, заснеженные пойменные луга, протоки маленьких рек с крутыми берегами. Голубоватосиняя снежная равнина, казалось, вздыхала под тяжестью снега.

На нарте с Ваули сидел казак. На ухабах нарту подбрасывало, и он, не умея на ней сидеть, падал, ругался, придерживая ружьё.

— На како холеру оно мне! — выколачивая из дула снег, сердился казак и положил ружьё под оленью шкуру.

При устье реки Собь обоз в двадцать упряжек остановился. Каюры поправляли упряжь, бегали вокруг нарт, разминая отёкшие ноги.

К вечеру упряжки выбежали на пологий берег Оби. Позади остались зимние юрты Вандиаз, Шурушкар, Елисей-Горт и Войкар.

Показались увалы, поросшие деревьями, и скоро среди них задрожали редкие огоньки хантыйского села Мужи. Десяток низких, придавленных снегом домов прижался к лесу. На взгорье возвышалась церковь.

Высоченный, с корявым, словно проеденным короедами, лицом и червично-сизым носом, поп Митрофан вёл службу.

Собравшись в новую церковь, остяки со страхом смотрели на большого русского попа. Митрофан, давно забывший все молитвы, находясь в повседневном запое, гнусавил под нос псалмы:

— Господи, помолимся! Господи, помолимся!

Искоса поглядывая на колепопреклонённую толпу, он вспоминал тот час, когда, спасая от запоя, батюшка упросил его поехать в Мужи. «Поезжай, Митрофан, и служи верой и правдой. Церковь новая, в Тобольске срубленная и приплавленная по воде. Служи и свои грехи замаливай. Гляди, прознаю — пить будешь, сам приеду, остригу и в монастырь отправлю».

— Тогда навечно богу помолимся! — снова взревел Митрофан, размахивая кадилом. — Отче наше-е-е!

Лай собак спутал его мысль о неминуемой встрече с батюшкой. Он заметил, что остячки, вскочив, бросились к двери.

— Да неси, неси вас лешак! — кричал он им вслед, бросив кадило.

Упряжки подбежали к церковной ограде.

— Эх ты, нехристь нечистая! — сказал казак Ваули, падая на колени. — Кто твои грехи будет отмаливать? — И, окрестив лоб, побежал к уряднику.

— Ваше благородие, боязно мне чтой-то! Надоть, чтобы казаки ночью не дрыхли. По обочине леса кто-то ухает. Мне кажись, его дружки за нами стороной несутся.

Шахов хотел было накричать на казака, но, взглянув на тёмный лес, приказал отвести арестованных в передний угол.

Снежная мгла придавила село. Уставшие за дорогу, олени спокойно лежали около нарт. Урядник стоял на крыльце избы, толстым пальцем вертел в ушах, потом позвал заседатели.

— Что, слышите что-нибудь? — спросил урядник.

Заседатель прикрикнул на собак, отошёл от избы.

— Шорох какой-то.

— Это, по всей видимости, его дружки подкарауливают. Того и гляди, оленей разгонят, да и...

– Давай в дорогу! – скомандовал заседатель. – В дорогу!

Упряжки бежали с редкими остановками. Позади осталось триста восемьдесят вёрст. К вечеру второго дня на холмистых увалах левого берега реки Сосьвы, верстах в двадцати от впадения в Обь, в середине всех остяцких и вогульских жилищ показалось Берёзово.

На взгорье, упираясь деревянной колокольной в облака, стояла каменная церковь. При виде её князь Тайшин соскочил с нарты, приподнял подол савика, пошарил за пазухой, бросил в снег гривенник.

– Ну, теперь жди, – постукивая зубами от холода, бурчал Ипполитко. – Тут у них святое место. Летом веслом взмахнуть не дозволено, чихнуть боязно, теперь на оленей не крикни.

Самоеды стали бросать в снег монеты, куски мяса и рыбы.

– Тьфу, ошалелое племя, – подъезжая, сплюнул заседатель, от озноба еле выговаривая слова. В стороне Соколов увидел заметённые снегом, покосившиеся кресты. – Гоните скорее упряжки! – закричал он, и не желая оставаться возле кладбища, на котором нашли приют многие из его давних друзей.

– В острог! В острог! – командовал урядник, когда олени выбежали на сеновозную дорогу.

Расправив усы, урядник честь по чести доложил о прибытии обоза из Обдорска.

Перепуганный надзиратель встал навытяжку.

– Иван Сергеевича сможете увидеть только завтра, – опомнившись, ответил он, отодвигая оплывшую свечу, заодно смахнул со стола рыбью чешую.

– Надлежит на ночь определить преступников, – сказал Шахов.

– Раз преступник, ясное дело, тута место его! – стговорчиво ответил надзиратель.

Ввели Ваули и Мигри, а за ними в больших савиках в узкую дверь шумно ввалились самоеды.

– Неужели все преступники? – удивился надзиратель, но, узнав, в чём дело, вмиг распорядился всем выйти, пригрозив за непослушание оставить в Берёзове.

Из открытой двери камеры тянуло сыростью.

– Да вы, однако, в кандалы одетые? – сказал надзиратель. – Шесть годов тута служу, а самоедов в кандалах не видел!

В камере была тишина. Ваули показалось, что в уши ему положили сухой мох. Он вспомнил тишину тундры, где всегда слышится шорох ветра, шелест трав или скрип снега под копытами оленей.

Глава 19

После отъезда председателя писарь Афоня облегчённо вздохнул, но, вскинув взгляд на стол, обомлел.

– Стра-а-ах, – задохнулся он. – Бумаги-то все остались. Забыл их второпях Пётр Силантьевич.

Афоня выскочил на крыльцо, пробежал несколько шагов по дороге и, поняв, что ничего не сможет сделать, вернулся. «Что будет теперь, что будет! Разве простит мне Пётр Силантьевич такую оплошность?» – думал он.

В управу вошёл купец Есаулков, ещё с порога сказал:

– Тишина какая, а говорят, в управе шуму не оберёшься.

– В Берёзово уехали, – чуть слышно ответил Афоня.

– Что так торопно?

– А так. Завернули в одночасье и отчалили. А как поспешишь, так всегда людей насмешишь. Да и то: кому смех, а кому слёзы. Ума не приложу. Придётся как-то догонять Петра Силантьевича. Не простит он мне оплошности. Бумаги-то все вот где остались. Вот! Чего там делать без бумаг? Разве Пётр Силантьевич всё упомнит? Тут и окладные книги, и разные реестры, и...

Андрею Прокопьевичу показалось, что это как раз тот случай, когда говорят: на ловца и зверь бежит.

Он ещё не мог решиться на поездку в Берёзово, но эта мысль была назойливой особенно сейчас.

Сегодня утром к нему пришла Клавдия Петровна Тихарева. Он был немало удивлён приходом, но не меньше тем, что она просила его помочь пойманному самоеду. Купец и теперь ещё не мог как следует понять, для чего, собственно, надо ему помогать. Он слышал, что этот самоед не даёт спокойно жить здешним властям, что из-за него не поступает в казну ясак. И всё-таки она просила...

Андрей Прокопьевич медлил. Конечно, это был бы небывалый жест в его жизни, и какая из женщин не оценила бы такого жеста! Разумеется, защищать какого-то там несчастного самоеда он не станет. Боже упаси! Но сам жест! Поехать в Берёзово! Кстати, у него там немало друзей, с которыми во время путины не всегда встретишься и обмолвишься словом. А сейчас времени прорва.

— А что, Афанасий... — купец остановился.

— Егорович, — помог ему писарь.

— А что, Афанасий Егорович, если мы с тобой махнем в Берёзово? Дорога теперь хорошая... У меня там дела...

— Неужто, Андрей Прокопьевич?! — обрадовался писарь: есть ещё бог на земле.

Андрей Прокопьевич заказал упряжки. Приказчик Савелий притащил громадный савик, и Прохоровна, положив его рядом с печкой, приговаривала:

– Не моргуй, Андрей Прокопьевич, не моргуй! В наших дорогах нет ничего важнее одежки. Пар костей не ломит. В савиках вшей нет, они чистые. Вошь – она к теплу жмётся, а тут каждая ворсинка по всем швам проморожена.

Выехали в полдень. Метель успела запорошить проторенную обозом дорогу, но олени бежали ходко. В стороне мелькали кустарники, сугробы, редкие заячьи следы. В ушах звенело, и казалось, что снега по-своему поют никем не слышанную песню, которая убаюкивает и клонит в дрёму.

«Зачем еду? – думал купец и тут же успокаивал себя: – Навещу мещанина Нечаевского. Зайду к заседателю Курочкину, переговорю о рыболовецких песках...»

Зимой Берёзово выглядело чище, наряднее: низенькие деревянные дома до самых окон заметены снегом, вокруг казённых, обшитых тёсом домов снег разметён, на окнах – резные наличники.

– Я, однако, сразу в управу, – крикнул Афоня, – мне Петра Силантьевича увидеть надо.

– Давай-давай, – ответил Есаулков и, толкнув в спину каюра, указал пальцем на большой пятистенный дом.

Мещанин Нечаевский из окна узнал купца Есaulкова. Набросив на круглые плечи полушубок, воткнул ноги в обрезанные головки старых пимов, вышел на крыльцо, сипло прикрикнув на собак. Нарочно долго щурил глаза и вдруг закричал:

— Господи! Радость-то какая! — Он обнимал купца, целовал в холодные, заиндевелые усы. — Гость-то какой желанный, а! Каким ветром это господь бог послал? — гнусавил Нечаевский.

— Пути господни неисповедимы!

— Будь она трижды проклята, эта дорога! — помогая Андрею Прокопьевичу вылезти из савика, стонал Нечаевский. — Уж я-то знаю эту дорогу! Ох и знаю! — тараторил он, сам взглядами торопил дворовых закрыть ворота на длинную палку.

Нечаевский в Берёзове занимался скупкой пушнины, платил исправно пошину в казну и жил спокойно. Самые дорогие меха можно было приобрести у Нечаевского. Берёзовскую знать в счёт не брал, ни с кем дружбу не водил. На постоянные угрозы заседателя не обращал внимания, посмеивался: «Мы такую мышь с потрохами схрумкаем в одночасье, ежели нужда в том объявится». В своё время мещанин упустил рыбный промысел, о чём очень жалел. Когда речь заходила о рыбных угодьях, у него перехватывало дух. Особенно терзался в осеннюю пору, когда мимо

проплывали баржи, гружённые отборной белой рыбой.

Переступив порог избы, Нечаевский крикнул:

– Фроська!

Из-за цветастой занавески выскочила румяная девка.

– Ну чего глаза пялишь? Или дела своего не знаешь? – поторопил он, мимоходом пнув перепуганного кота. Кот юркнул в голбец.

Скоро на столе фыркал большой медный самовар, появились разные солёности и копчения. Достав из чёрного шкафа узкогорлую бутылку английского рома, Нечаевский, подперев кулаком квадратный подбородок, с любопытством смотрел на Андрея Прокопьевича. «Молодой ведь ещё, еле-еле седина в бороде проклёвывается, а эким делом ворочает! И сюда неспроста приехал».

– Плохи нонче у меня дела, дорогой Андрей Прокопьевич! Охотники из урманов вернулись, а пушнины так себе! – мещанин скривил губы, махнул рукой. – В прошлые-то годы к этому времени я гоголем ходил. Теперь одна надежда на тазовских самоедов. Они в этих годах ясак не сдают. На днях из тундры Вануйто приезжал, сказал, что в казну ни одной шкурки не положили. У них там Ваули Ненянг есть, – почесывая за ухом, говорил мещанин. – Он все дела вершит и сдавать ясак не велит. А как жить? Они потихоньку со мной и торгуют. А

мне какая разница, у кого покупать? – Мещанин подмигнул купцу, но вдруг побагровел. – Это я с тобой по-дружески разговорился! Наверное, наболтал лишнего! Ай, да что! Все так живут. Хочешь жить – умей вертеться. Так и в нашем торговом деле, Андрей Прокопьевич. У тебя свои заботы, у меня – свои. – Нечаевский умолк, лицо его стало сосредоточенным, и, как показалось Андрею Прокопьевичу, даже пошевелились уши. – Неужели едут? – сказал мещанин тихо.

Купец не сразу понял, что так встревожило Нечаевского.

– Едут самоеды! Вануйто едет! Чёрт их несёт! Ох, как не вовремя! – метался от окна к окну Нечаевский.

Во дворе лаяли псы, бегали, рвались с цепей.

– Ты уж прости меня, Андрей Прокопьевич, – простонал Нечаевский, – дело у меня. – «Ой, леший тебя принёс», – ругался он про себя.

Велико было удивление Андрея Прокопьевича, когда он увидел, как обласкивал Нечаевский самоедов: низко кланялся каждому, жал руки, приглашал в избу. Проворная Фроська расстилала на полу холщовую тряпицу. Низенькие, в широких, расшитых по подолу и рукавам платьях, в комнату вошли три остячки, внесли охапки мороженных муксунов и шокуров.

«Ишь, сколько их тут около него вертится! Да все молоденькие!» – подумал Андрей Прокопьевич, разглядывая смуглые лица девушек.

Хозяин обнимал за плечи маленького остроглазого самоеда.

– Ты уж прости меня, Андрей Прокопьевич, я вмиг отслужу для них свой ретувал. Я попервости их не балую. Молвы худой не хочу. А уж потом кто кого! – И он подмигнул купцу раскосым глазом.

Церемония и в самом деле оказалась короткой. Пятеро самоедов сидели на полу, Фроська проворно шмыгала около них. Большую бутылку держала под мышкой. Из тонкого горлышка шумно, как живая, клокотала и выпрыгивала пахучая водка. Самоеды ели много. Кучи рыбьей чешуи и костей остячки стряхивали с тряпицы. Фроська внесла самовар. Осмелевший маленький самоед вдруг вскочил, закричал, но, встретившись с взглядом Нечаевского, замолчал и сел, обхватив голову.

– Спать, спать пора с дороги! – стараясь успокоить самоеда, сказал Нечаевский. – Фроська савики постелила.

– Беда у них, – сказал Нечаевский. – Ваули Ненянга-то схватили, в Обдорск увезли, а они скорее сюда. Им надо меха продать. Так Ваули наказывал.

Андрей Прокопьевич разглядывал сидевших на полу мужчин.

— Они говорят, что отдадут весь ясак, если русские отпустят Ваули, — добавил мешанин.

— За что они почитают Ваули? — спросил купец.

— Они говорят: когда Ваули приходит к кому-нибудь в чум, туда сразу приходит счастье.

...Андрей Прокопьевич проснулся от самоедского говора. В горнице шёл торг. Разодетый в меховую безрукавку, с гладко причесанными волосами, в мягком кресле сидел Нечаевский. На столе стояли рюмки, повеселевший Вануйто из-за пазухи доставал связку песцов.

— На, бери! Это подарок тебе! — сказал на ломаном русском языке самоед, положил перед мешанином меха. Нечаевский кланялся Вануйто. В такой позе и застал его Андрей Прокопьевич.

— Фрось-ка-а-а! — вздрогнув, закричал хозяин.

— Нет-нет! — остановил его Андрей Прокопьевич. — Я тороплюсь! — соврал он, сознавая, что своим присутствием тяготит и стесняет хозяина.

— Как так? — скорее для порядка сказал Нечаевский, когда купец надевал шубу. — О деле-то мы не поговорили!

— Тебе, любезный Николай Иванович, не до меня сегодня!

— И то верно, — согласился Нечаевский. — От них теперь не отвяжешься, пока дело не сдела-

ешь. Встретимся ещё. Куда вам спешить? До па-
водка-то ой-е-е ещё!

Андрей Прокопьевич пошёл по заснеженным улицам Берёзова. Одинокaя собака, радостно повизгивая, купалась в снегу. Из труб изб валил густой дым, кто-то колол дрова, и глухие удары топора летели к лесу, тонули в сугробах.

Из переулкa выбежала длинногpивая лошадёнка с коротко подвязанным хвостом. Бежала трусцой, позвякивая худенькой сбруей. Мужик в беличьей шапке-треухе стоял на саях, размахивая вожжами.

На обочине дороги, что была ближе к лесу, виднелись чьи-то следы. Андрей Прокопьевич остановился. «А вдруг это след соболя? Что стоит соболю забежать сюда? Кругом такая тишь. Лес – рукой подать. Не зря же на круглой печати Берёзова рядом со словами «Земли сибирские Берёзова-города» вырезан соболя, а рядом с ним стрела».

Глава 20

Берёзовский заседатель Иван Сергеевич Курочкин долго справлял рождество. Хотя он и был в больших долгах, но любил говорить, что живёт по принципу: мри душа неделю, царствуй один день! «Раз дана власть, то и жить надо всласть», – говорили друзья, которых у него было предостаточно.

На вид он был маленький мужичок. В Берёзове все узнавали его по походке. Шагал он обычно, выпячивая грудь и не сгибая ног в коленях, как подпрыгивал. Словно оправдывая фамилию, чудом сохранившийся посередине лысины хохолок вздрагивал, как гребень у старого петуха. Важничал, особенно когда разговаривал со служащими, бродячими людьми или инородцами.

За рождественские дни дел скопилось много, но главным было дело, связанное с обдорскими самоедами, не платившими ясак в казну. Исправник Скорняков настаивал рассмотреть его в первую очередь.

— Пусть их судит князь! На то ему и власть дана! — говорил Курочкин писарю, когда на пороге появился Андрей Прокопьевич.

— Неужели это ты, а? Каким ветром? В такое время, когда вокруг белым-бело! — обнял Курочкин купца и заторопился: — Домой, домой! Ко мне! Расскажешь про житьё-бытьё. Я и теперь до жизни охотник. — Схватив Андрея Прокопьевича под руку, выскочил из управы, не оборачиваясь, ногой захлопнул дверь. — Засосала меня окаянная Сибирь, как трясина! С году на год замену жду, да охотников сюда ехать не лишку. А я здесь свою вину во как икупил! — И он провёл ладонью у жёлтых глаз. — Дорого мне скандал с генералом обошёлся. Да бог с ним, с генералом, — говорил

он, поправляя шарф на шее. – Вот только Петербург!.. О нём, как о человеке, тоскую, как вспомню набережную, Марсово поле, Летний сад! – И Курочкин закрыл глаза, но вдруг насторожился, посмотрел в сторону. – Там, в остроге, кажется, самоеда вывели.

У острога, обнесённого бревенчатым тыном, стояли двое мужчин в малицах. Они не обращали внимания на любопытствующую толпу.

Курочкин прищурился, сделал несколько шагов вдоль прясел, пытаясь увидеть лицо высокого мужчины.

– С вашей стороны, с Обдорска привезли, – сказал заседатель. – Не приди вчера к исправнику самоедский князь, пришлось бы мне заниматься этим делом. А он явился к Скорнякову со своим толмачом и давай жаловаться, что не доверяют чинить суд над Ваули. Илья Матвеевич наш – чистоплюй, как увидел толмача в полушубке с оторванными полами, да с изодранным в клочья ухом на шапке, да в стоптанных пимах, не стерпел: «Передай своему хозяину, если он не приведёт тебя в божеский вид – близ порога его не пущу!» – и выгнал Тайшина, как чернь. Потом, верно, спохватился, что круто обошёлся с князем, велел передать, что позволяет ему судить самоедов. А с меня как гора с плеч! Худа без добра не бывает. Ну их всех к чёрту! – Курочкин вдруг потянул Есаулкова

за рукав и, пройдя несколько домов, свернул к огородам. — Я мимо дома исправника только на подводах езжу, а пешком полем хожу. У меня к его жене должок есть. Так она каждый день будто меня поджидает. Я гнусь перед ней в три погибели, а ей любо.

Есаулков улыбался в бороду: «Ничего себе заседатель. Дожил. От долгов огородами бегаешь!»

Дом заседателя стоял на окраине Берёзова, возле самого леса. У порога висели отполированные оленье рога. В углу стояли выточенные из лосяных рогов подсвечники, в расшитой узорами меховой сумке лежали щётки, с потолка свисало чучело огромного глухаря.

— Всё сам! В этом только ищу утешение, если не пью, — сказал Курочкин. Уловив взгляд Есаулова, опёрся о подоконник, посмотрел в окно — Вот так и слушаю, как тайга стонет.

— А куда вы думаете ссылать этого самоеда? — неожиданно для Курочкина спросил купец.

Не видя в этом вопросе ничего особенного, Курочкин, радуясь, что ему удалось отвлечься от грустных мыслей, сказал о намерении сослать смутьяна подальше, чтобы другим неповадно было вести в стойбищах разговоры о задержке ясака.

— По моему мнению, надо сослать в Иркутские остроги. Туда уходят навсегда! Оттуда обратной дороги не будет!

– У вас есть ближе остроги?

Курочкин прошёлся по комнате.

– Есть. Ну хотя бы Сургутский. Он ближе. Рекой кружить – Конца-краю нет, а если зимой оленями – рукой подать! Нет, этого сюда нельзя, – говорил Курочкин. – Он тут же объявится. А что? – насторожился заседатель.

– Хотелось, чтобы поближе к своим был этот Ваули!

Курочкин повернулся на одной пятке.

– Думаешь ли ты, любезный Андрей Прокопьевич, что говоришь? Знаешь, чем это пахнет? Ясак-то в казну не идёт!..

Андрей Прокопьевич достал из внутреннего кармана пиджака кожаный портмоне, развернул его и положил на стол пачку денег. Курочкин обомлел.

– Сургутская волость – и всё! – сказал купец и заторопился уходить, чтобы не смущать Курочкина. Есаулков, через чьи руки прошли немалые капиталы, не жалел их, но испытывал неловкое чувство, сам, собственно, не ожидая, что всё-таки решится на этот шаг.

Оставшись один, Курочкин воровато оглянулся по сторонам, сдернул с шеи вязанный шарф, бросил его на пачку с деньгами. «Вот тебе и купец! Какого-то самоеда выкупить хочет. Денег у него куры не клюют! А что, если всё с умыслом? –

подумал Курочкин. Капельки пота выступили на его лбу. — Нет-нет, такого быть не может! Что ему за корысть? А что, если обо всем этом сказать исправнику? — Курочкину представилось насмешливое лицо Скорнякова. — На-ко-ся, выкуси, Илья Матвеевич, — показал заседатель в угол комнаты кукиш. — Не отдам я тебе этих денег. С купцом Есаулковым тебе в жизни ничего не сделать! Вокруг него многие на задних лапках ходят! — И он осторожно приподнял шарф. — С такими деньгами о выезде из этой дыры можно подумать. — Ему представились дорожные хлопоты, прощание с друзьями, завистливое лицо исправника. — А кто не берёт взятки? — размышлял Курочкин. — Кто руки не греет? Бог ты мой! Доподлинно знаю, что самый главный вымогатель — исправник. Вот кто чистит инородцев! Кто не знает, что они ежегодно дают ему по сорок соболей в подарок, до пятисот рыбин осетра. Все знают. Знают, да помалкивают. И указов царских не боится. — Курочкина одолела жажда. Он хотел выйти на кухню, но, взглянув на деньги, передумал. — А что делают сборщики ясака? В прошлом году, правда, отдули Павла Казанцева: лучших соболей оставил себе, а худших в казну отдал. Так это только одного. А сколько их таких? И всё шито-крыто. Потому как у всех рыльце в пушку. Или поп наш батюшка. Так-то он и живёт святыми молитвами? Да каждый мужи-

чишка знает, что отец Афанасий со сборщиками ясака посылает в тундру вино и табак для продажи инородцам и велит привозить взамен рухлядь. И всё ладно! – Курочкин даже зажмурился и головой помотал. – До того бесстыжие люди! Кто как может, все тянут в свой карман».

Оправдавшись, он стал размышлять, как доказать исправнику, что самоеда Ваули Ненянга следует отправить в Сургутский уезд.

Остаток ночи Курочкин ходил из угла в угол и подсчитывал километры от Обдорска до Сургута по воде. Получалась внушительная цифра.

– Около двух с половиной тысяч! Ничего себе! – Он считал эти доводы существенными, тем более что в Пирчинских юртах правит лютый служитель Гришка Чердаков, который всех ссыльных держит на цепях.

Глава 21

После того как исправник доверил Тайшину чинить суд над Ваули, князь по праву крещёного пошёл в церковь, позвав с собой Ипполитко.

Толмача Ипполитку, одетого в новый полушубок, нарядные кисы и треух, трудно было узнать. По дороге в церковь он рассказывал князю, что в ней хранятся две святыни: икона святого архистратига Михаила и икона святого Николая-

чудотворца, подаренная ещё в 1592 году за покорение северных окраин.

Слушая Ипполитку, князь остановился, будто давно не видел его.

– Ты откуда узнал?

– Так я до Обдорска в Берёзове жил! – ответил толмач. – Я тут провинку маленькую сделал: одному живодёру харю расквасил, и меня выслали к тебе. Я без малого тут десяток лет прожил. Каждый переулочек знаю! – подмигнул толмач. – Тут хранятся две парчовые священные ризы с нашивными звёздами ордена святого Андрея Первозванного. Их подарили сосланные сюда князя Меньшиковы и Долгоруковы. Там лежит золотой медальон...

– Ты знаешь, где пируют старшины? – думая о своем, спросил князь. – Старшин собирать надо, Хозовыко надо, Неруя надо.

– Отыщем, – ответил толмач.

Старшины, разъехавшись по знакомым, много дней не показывались на глаза князю, пили, не просыпаясь.

Берёзовские казаки не отходили от них, выменивая за бутыль сивухи песцов и соболей, которых украдкой прихватили с собой старшины. Когда в мену пошли оленьи упряжки, Хозовыко опомнился, попросил горячего чаю, а узнав, что суд над Ваули назначен на завтра, долго тёр лицо и руки

снегом и гнал всех, кто перешагивал порог избы слепого толмача Мефодия.

Суд начали утром. На широком бревенчатом помосте разостлали белые оленьи шкуры. На них сидел одетый по всей форме князь Иван Тайшин. По обеим сторонам расселись старшины и знатные люди Берёзова.

С этого помоста чиновники объявляли царские указы, оглашали решения инородческой управы, собирали ясак в государеву казну.

Сегодня здесь должны были решить судьбу самоеда Ваули Ненянга и остяка Мигри Войтина.

Никто не думал, что в такой морозный день к месту суда сбежится столько народу, особенно черни.

Исправник Скорняков пришёл послушать суд для порядка, а больше ради любопытства.

— Вона, ведут! — услышал он голос мужика в красной опояске. — Вона, тот у них бунтует да страх на всю тундру нагоняет! Говорят, у них весь род перемёр, а ясак велят сдавать за всех. Правильно возмутился самоед! Гони их из своей тундры в три шеи!

Исправник, услышав такие слова, посчитал, что князю Тайшину придётся помочь. В Берёзове самоедский язык знают многие и накричат такое, что придётся бежать с помоста, как было однажды с остяцким князем. Чтобы придать солидность де-

лу, исправник Скорняков подошёл к князю и сел рядом. «Ишь какой объявился! – подумал Скорняков, взглянув на Ваули. – И росту высокого, и голову держит, как у себя в тундре». Сняв меховую рукавицу, он поднял вверх правую руку. Воцарилась тишина. Прокашлявшись, он громко спросил:

– Как ты осмелился распорядиться, чтобы самоеды не сдавали ясак в казну?

Ипполитко поправил сползавший на глаза треух, быстро перевёл слова исправника.

Ваули подошёл к помосту, обвёл взглядом старшин, заговорил. Голос его был резким. Исправник не понимал слов, но, увидев растерянные лица старшин, понял, что Ваули не оправдывается. Переведённые в точности его слова показались исправнику небывалой дерзостью.

– Разве вы не знаете, что все, кто бывает в тундре, обманывают самоедов? Разве не знаете, что торговцы за горсть соли берут песка? Разве не знаете, что наши дети пухнут от голода, а хлеб нам продают гнилой? Разве не знаете, что ясак велют платить за тех, кого давно нет в живых?

Ипполитко переводил, вкладывая в слова гнев и взволнованность Ваули.

– Потише, Ипполитко, – предупредил заседатель Соколов, боясь посмотреть в сторону исправника. Исправник часто дышал, будто ему не хватало воздуха. Он никогда ещё не испытывал тако-

го неловкого чувства. Обычно на суде люди оправдывались, старались доказать свою невиновность. «А этот» – подумал Скорняков, не зная, как поскорее уйти с помостков.

– Освободить мужиков! Правильно, самоед, делаешь! Не плати им ничего, ежели они вас так объегоривают! Вытуривай их из тундры, ты тамо хозяин! – со всех сторон кричали березовские мужики.

– Ваули – вор! – закричал Тайшин, вскочив на шкурах. – Он много оленей таскал! – переводил Ипполитко слова князя. – Он в озеро толкал старшину Айваседа, он выгнал старшину Садома.

Но исправник не слушал его, не вникал в смысл переведённых слов. «По мне, хоть все стада у тебя пусть перетаскают, лишь бы ясак сдавали в срок! – думал Скорняков. Слова Ваули не выходили у него из головы. – Не всё, не всё там благополучно. Кто так мог научить самоеда? В его вопросах большой смысл!» – Исправник отыскал взглядом обдорского заседателя Соколова, покачал головой.

«Господи, за такие слова самому отвечать придётся. Ишь куда замахивается! Власти обвиняет. И ведь не отвечает, а спрашивает», – думал заседатель.

Князь Тайшин, сбитый с толку, ничего не мог сказать.

– Суди, суди, князь, – не выдержав, кричал заседатель Соколов, надеясь, что Тайшин из-за своей обиды на Ваули будет требовать возврата угнанных оленей. Но князь Тайшин испугался: не мог же он здесь, принародно, сказать, что не ездит в тундру из боязни.

– Ипполитко, Ипполитко! Читай! Читай громко! – закричал князь, подавая заготовленное решение суда самоедско-остяцкой управы.

Толмач вскочил на помост и стал читать. Хозовыко, приложив толстую ладонь к уху, слушал, кивал головой.

– «...управа приговаривает, – повторил толмач, встретившись взглядом с князем Тайшиным, – Ваули Ненянга и Мигри Войтина к двадцати ударам плетью и ссылке из этих мест в Пирчинские юрты Сургутской волости».

– Как так в Пирчинские юрты? – закричал Тайшин. – Он убежит! Он убежит оттуда!

Но Ипполитко сложил зачитанное решение, сошёл с помоста, не желая смотреть, как кнутабойцы станут хлестать самоедов.

На лицах старшин не было радости и восторга. Они смотрели на князя Тайшина, который и сам не знал, как поставил свою печать, определив Ваули высылку в Пирчинские юрты. «Как, так написал заседатель Курочкин?» – удивлялся князь.

Деревянные козлы из трех сосновых плах были запорошены снегом. Здоровенный казак подошёл к ним, взмахнул плетью, описав полукруг, она просвистела в воздухе.

– Не, мешайте! Стаскивайте с них одежонку, – кивнул он головой в сторону Ваули. – Ему руки и ноги привязать придётся. Он сильный.

Перед первым ударом палач долго топтался на одном месте и, подпрыгнув, наотмашь ударил по спине. Плеть отскочила. Палач вдел руку в ременную петлю и принялся за работу. При каждом ударе спина Ваули вздрагивала.

– Так его! Так его! – кричал на помосте самодский князь, подпрыгивая на мягких шкурах.

– Бей его! – задыхался Хозовыко, при каждом ударе загибая толстый палец.

Избитого Ваули отвязали от скамейки, столкнули в истоптанный, окровавленный снег. Он встал. Помутневшими глазами посмотрел по сторонам, отыскал взглядом Тайшина и на родном языке крикнул:

– Я ещё встречу тебя, шелудивый пёс! Правда плавает, как сало в воде!

– Тебя угонят в такие края, куда и гуси не летают! – ответил князь, багровея.

На крик Мигри Ваули обернулся, подбежал к скамейке, но его оттолкнули.

Ременная плетка размокла, на снег напала кровь. Сделав последний удар, палач бросил плеть в снег и вытер рукавом взмокший лоб.

— Доволен, князь? — крикнул кнутабоец. — Гони обещанную пушнину! Не зря работал! Свое слово сдержал!

Глава 22

После визита к купцу Клавдия Петровна не находила покоя, ругала себя, что не подумала, поддалась словам Мироновны и наговорила купцу какую-то несусветную ерунду. «Боже мой, какая дура, пошла, кому это надо?» — думала она и, не в силах справиться с охватившим её бессилием, расплакалась.

По-своему поняв её слёзы, Мироновна успокаивала, говорила:

— Будет тосковать. Видно, столько лет ему на роду было отведено. Николушку последняя дорога к Ненягам подкосила. Он оттуда приехал и таять начал. Испростыл. Все, кто с ним ездили, вернулись, а он долго ещё в тундре жил.

Неожиданная смерть мужа будто остановила жизнь Клавдии Петровны. Она никого не замечала, ни с кем не разговаривала. Лишь весть о поимке Ваули Ненянга вывела Клавдию Петровну из оцепенения. Плач Мироновны словно пробудил её ото

сна, встревожил сердце. В те минуты она не думала, как отнесётся к её приходу купец Есаулков.

Она вошла в его комнату стремительно, как влетела. Минутная пауза для обоих оказалось тягостной, терялась непринуждённость встречи, и Андрей Прокопьевич наконец воскликнул:

— Какая гостья! И кто бы мог подумать!

Он вмиг выскочил из комнаты. В приоткрытую дверь слышалось:

— Да поживее. Поторопитесь.

Клавдия Петровна почувствовала себя неловко. Его весёлость пугала и раздражала её, и она еле сдерживала себя, чтобы не разрыдаться.

Андрей Прокопьевич заметил это.

— Ну что? Что у вас случилось? — спросил он негромко, требовательно. — Дело у вас есть. Знаю, не пришли бы так просто. Говорите. Я выслушаю. Я всё от вас выслушаю. Вы ведь знаете: Есаулков может пасть перед вами ниц. Знаете?»

— Господи! — взмолилась Клавдия Петровна, не ожидавшая такого откровения от Андрея Прокопьевича. Не надо, не говорите таких слов. Я пришла к вам просить помощи.

Она не была уверена, что Андрей Прокопьевич согласится помочь какому-то самоеду Неняngu, но Есаулков срочно выехал в Берёзово. Его отъезд для всех стал загадкой, тем более что Прохорова

оповестила, будто он помчался в дорогу сразу после ухода от него жены умершего Тихарева.

В Обдорске судили разное. Злорадно вздыхая, заседательша говорила:

– Всё одно, неспроста он тут остался. Неспроста! Шила в мешке не утаишь.

Услышав такие разговоры, Мироновна плевалась, на любопытные вопросы отвечала:

– Сами столько пережили бы, так другую песню пели.

– А будто у ней одной мужик помер! Пройдёт время, и всё забудется. Не больно долго вместе жили, и ребят у них нет. А без ребят – бедна голова, да одна.

– Эх, дуры вы, дуры набитые. Любовь-то у него была к ней особенная, годами проверенная.

– А ты больно много знаешь про всякую любовь. Как смолоду засохла на корню, так всё и трепещешься, как ветка на ветру, а про любовь судишь. Знаешь ли, с чем её едят, любовь-то?

Мироновна после таких слов крестилась, уходила.

После отъезда в Берёзово купца Есаулкова Клавдия Петровна, тревожась и не подавая виду Мироновне, целыми вечерами сидела за рукописями Николая Владимировича. Страница за страницей открывали они перед ней всю его жизнь, все встречи в тундре.

«...Самоеды по общему типу Севера смуглы и черноволосы, у них отличное зрение, тонкий слух, они очень выносливы и чрезвычайно внимательны ко всему, что они делают и что их окружает», – писал он.

«...Некрещённые самоеды исповедуют языческую религию Севера, а крещёные – двоеверие, то есть смесь язычества и христианства».

«...Самоеды жалеют и берегут свою оленью тундру, пасут свои олени стада осторожно, чтобы не вытоптать ягель. Самоед любит своих оленей и приспособливает свою жизнь к условиям его жизни».

«...Самоеды и остяки владеют своими землями на родовом начале».

«...Лица обдорских инородцев блестящие, глаза карие, довольно правильные черты, густой румянец по довольно белому лицу».

«Русские зовут самоедский род – ватага».

Вдумываясь в смысл, она понимала, сколько надо было знать, наблюдать их жизнь, чтобы делать свои замечания.

«...Самоед волен иметь столько жён, сколько пожелает, сколько сможет содержать».

«...Не желая жить с женой, самоед может отпустить её, отдав оленей, которых получил в калым»,

«...Женщины-самоедки имеют красивые руки и ноги...»

Читая, Клавдия Петровна представляла Ваули Ненянга, имя которого много раз встречалось в записях Николая Владимировича. Рядом с его именем стояли пометки, ссылки на другие рукописи.

Мироновна сидела рядом, достав из-под подушки серую тряпку, в которой лежали лоснящиеся от времени игральные карты

– Разброшу на Ваули, – сказала она, прищулив глаза, и долго покусывала нижнюю губу. – Печаль у него на сердце. И дорога длинная. – Мироновна выбросила ещё три карты из колоды. – А что-то должно возрадовать его сердце. Нечаянный интерес на сердце пал. Вдруг да как соплеменники освободят? Они, сказывали сегодня бабы у проруби, стороной да стороной, а всё за ними неслись. Даст бог, ещё и освободят. А может, и ещё откуда послабление придёт... – Она явно намекала на заступничество Андрея Прокопьевича, полагая, что его поездка в Берёзово была связана непременно с просьбой Клавдии Петровны. – А ему нонче, Андрею-то Прокопьевичу, опять почтать бумагу привёз. Пакет большущий, бабы сказывают. А заседательша толкует, что его жена вытребывает.

Мироновна говорила правду.

По приезде из Берёзова купец Есаулков получил кучу слёзных писем.

«Любезный и ненаглядный суженый мой Андрей Прокопьевич, богом мне посланный, – началось каждое письмо. – Подумать боюсь, как решились Вы, мой сокол несравненный, коротать в тех самоедских краях неопишущую зимнюю стужу!»

А дальше шли обиды и упрёки, а главное, как писала супруга, «Твоё длительное и неожиданное отсутствие в свете дало повод для всякого рода сомнений и предположений. А более всего нас удивило поведение судебного работника, который на допросы папеньки о Вашем неприезде ничего не хотел говорить».

Возвратясь из Берёзова, Есаулков не находил себе места. Из памяти не выходила встреча с берёзовским заседателем Курочкиным. Остался неприятный осадок в душе не от того, что дал ему денег, а что не мог объяснить сам себе, для чего это делал. «Деньги – пустяк – думал он. – Разве такие деньги проходят через мои руки?» Для чего сделал? Стыдно людям сказать, из-за какого-то самоеда, которого и в глаза не видел. А вдруг как всё обернётся другой стороной? А вдруг?.. На притчу и грабли стреляют... Время какое беспокойное! А про этого самоеда слух идёт, что он не только оленей ворует, а всех в тундре против властей настраивает...» Эта надоедливая мысль не выходила у него из головы, настойчиво ходила за ним, как преследовала. Но больше всего его страшила

встреча с Клавдией Петровной. «Ну что ей скажу? Что? Не могу же сказать, что дал взятку Курочкину. А что сказать ещё? А она придёт. Точно знаю, придёт. И чёрт меня дёрнул поехать в это Берёзово. Ну, уехали все, и весь спрос, так сам заторопил Афоню. – Никогда купец Есаулков не испытывал такого гадкого состояния. – Плюну на всё и уеду. Уеду, и больше никогда не будет моей ноги в этом крае», – думал он, стараясь поскорее уснуть, чтобы освободиться от надоедливых дум. Бессонница, как присутствие молчаливого человека, не давала покоя. Он встал, накинул на плечи шубу и сел спиной к тёплой печи. Ему вспомнился рассказ Прохоровны, как какая-то самоедка напоила русского мужика настоем из здешних трав, и он вместо дома обратно вернулся, заблудился. Нашли замёрзшим в тундре.

«Тьфу! Какая ерунда в голову лезет! – думал Андрей Прокопьевич. – Причём тут самоедка и всякие наговоры?» – Он достал трубку, стал жадно раскуривать.

– Не захворал ли? – услышал сзади себя голос Прохоровны. – Вона в лице кровинки нет.

– Уеду я, Прохоровна, завтра. Закажу упряжки – и прямо к Уралу, а там дорога, слава богу, проторённая. Уехать мне надо.

– Стужа-то какая стоит, – проронила Прохоровна. – Сколько ден-то до Уралу ехать придётся.

Андрей Прокопьевич ничего не ответил.

...Весть о срочном отъезде купца Есаулкова вмиг облетела Обдорск. Утром Прохоровна по просьбе Андрея Прокопьевича пошла к Клавдии Петровне.

– Уехал мой хозяин, что-то стряслось с ним. Не вымолвил ни словечка, только просил передать вам земной поклон.

В это же время упряжки сытых оленей несли купца по самоедской дороге в Каменную сторону. Андрей Прокопьевич, втянув голову в большой савик, шептал про себя: «Слюнтяй! Какой же я, однако, слюнтяй!»

Глава 23

После двадцати ударов плетью Мигри заболел. Он лежал, смотрел в промороженный угол стены и молчал. Сухое сено, брошенное на пол, шуршало, когда он пытался повернуться. Ваули приподнимал подол его меховой рубахи, мазал рыбьим жиром, сбережённым от кусочка муксуна, багровый кровоточащий шрам на спине. Лицо Мигри пожелтело, сморщилось, кожа обтянула ребра, покрылась мелкими пупырышками, словно удары плетей выбили из его тела тепло.

– Ничего, Мигри, – говорил Ваули. – Только вскроется река, только выведут нас на улицу – мы убежим в тундру.

Мигри не отвечал. Он, проживший много лет среди купцов толмачом, лучше, чем Ваули, знал, как содержат ссыльных, какая участь приготовлена им, особенно в Пирчинских юртах, где старшина Гришка Чердаков всех арестованных заковывал в цепи, заставлял по утрам лаять по-собачьи.

– Ништо, разбойнички, – приоткрыв дверь, крикнул надзиратель, подавая арестованным еду. – Скоро освободимся от вас. Обь вскрыется – и марш отсюда. Всю зиму только вас и караулим. Берега у реки вспучились, того и гляди тронется, а за льдом и вас отправим, не задержим.

С приближением весны тяжелее становилось на душе Ваули. Невыносимо хотелось домой.

Виделась тундра – широкая, безбрежная, с чистыми озёрами, в которые смотрелись все облака неба, с шелковистыми травами и ласковыми мхами. Стоило закрыть глаза – и к нему приходила Тученбала... Робкая, как всегда, ласковая, она приоткрывала берестяной короб и показывала ему сына. В такие минуты Ваули вскакивал – и всё пропадало. Вокруг стояли чёрные стены, а из бревенчатого пола с писком выскакивали разыгравшиеся мыши.

– Убежим! Всё равно убежим! – говорил он.

В одну из таких ночей закричал Мигри:

– Обь пошла! – Он начал стучать кулаками в дверь и стены камеры. – Я слышу, пошла Обь. Я слышал, как лёд отошёл от берегов.

– Ты ошалел? – закричал перепуганный надзиратель, заглянув в камеру. – Ты умом тронулся?

Мигри, тяжело дыша, упал на прелое сено.

– Ну, берегись, Тайшин! Берегитесь, старшины! – говорил Ваули, успокаивая Мигри. – Я покажу вам, как гневается народ! Как может сердиться тундра!

Мигри не ошибся. Обь вскрылась. Казалось, ледоход разбудил людей от долгой, тоскливой спячки.

– Слышите, как щука хвостом лёд крошит? – говорил надзиратель, почесывая за ухом. – Нерест начался. Ещё день-другой – судёнышки поползут, и вам, самоеды, посвободнее будет.

Дверь камеры открылась дней через пять после начала ледохода. Толмач Андрей Кокоулин, войдя в камеру, сморщил нос от прелого воздуха, поширил за пазухой и достал помятый листок, прочитал:

– «Сургутскому заседателю Ширяеву.

25 мая 1839 года по решению суда самоед Пьеттомин и остяк Войтин были наказаны через нижних полицейских служителей плетью, двадцатью ударами, с переселением их в Сургутское отделение и сдачей под наблюдение старшины во-

лости, чтобы они не отлучались в прежние свои жительства».

Дальше стояли подписи и печать.

Толмач сложил листок вчетверо, спросил:

– Довольны таким наказанием? А Пиеттомином ты будешь зваться с этих пор, как высеченный властями главарь.

Ваули снова спросил, в какую волость их отправляют.

– Да в Сургутскую! В Сургутскую! – раздраженно закричал толмач, выходя из камеры, но вернулся, заставил арестантов поставить на бумаге свои каракули.

До Сургута Ваули и Мигри сопровождали двое казаков. Арестованных посадили в сырой, холодный трюм. Было слышно, как тугие волны ворочают с боку на бок одинокие запоздалые льдины.

К пристани Сургутской приплыли через две недели. Вдоль берега сновали вёрткие колданки, у дощатого причала стояли два больших бота с блестящими просмоленными боками, мимо гнали плоты. На берегу у костра в кособоком ведре кипела смола, и юркий мужичишка смолил лодку. Увидев грязных, продрогших в дороге самоедов в рваных малицах, он ахнул:

– Это откудова таких ободранцев приволокли?

– Поторапливайтесь! – ежась на ветру, казак подталкивал арестованных, думая поскорее сбыть их земскому заседателю Ширяеву.

...Ширяев был в управе. Надев на нос очки, он долго читал бумагу Берёзовского суда, потом взглянул на арестантов.

– А покраше в Берёзове нету-у? – спросил он. – Как, по-вашему, люди хорошие, куда я их отправлять должен?

Казак пожал плечами.

– Вам теперь что? – басил Ширяев. – Вам только с рук сбыть! Денег-то на содержание у меня нет! А они голым-голёхоньки. Прибывают ссыльные, так у них хоть пожитки какие есть или пристроить куда-нибудь на работу можно, а этих?

За всю десятилетнюю службу в Сургуте заседателю впервые пришлось встретиться с ссыльными инородцами.

– Пишут ещё, чтобы я их в дальнюю волость отправил, – говорил Ширяев. – А у меня без них делов полным-полно. – Ширяев хмурился, лоб прорезали глубокие морщины. Серафим Прохорович! – крикнул он, постучав в соседнюю комнатушку. В двери тотчас просунулась голова. – Не скажешь, любезный, не ушла в Пирчинскую волость какая посудина? Отправить бы этих – и дело с концом.

– Разве только купец Тараканников? Я ему вчерась печать ставил, – ответил сухопарый писарь. – Кабы знать!

– Или их на работу куда пристроить? – говорил Ширяев вслед писарю. – Пусть на рубашонки заработают. Вона у меньшего-то вся холка наголе.

– Вы уж простите меня, – сказал писарь из-за стенки. – Я на них глядеть-то не хочу! Что это за тварь такую господь на земле создал, а? Да они ещё и в ссыльные угождают!

– Вы их не очень-то их бракуйте, – ответил на это заседатель. – Этот высокий у них главарь. Все обдорские старшины перед ним трепетали.

– Кто? – слабеющим голосом протянул писарь. – Они-и? Не верю!

– Флегонт Силин не отплыл в Пирчины? – думая о своём, спросил заседатель.

– Ой, я запамятовал! – воскликнул писарь. – Вчерась его видел. В кабак я после бани зашёл. Смотрю, а там Силин сидит. Вокруг него народищу!.. Мне показалось, что он грузчиков набирает.

– Только б не прокараулить Силина! – заторопился заседатель и вышел из-за стола, прихрамывая на правую ногу.

В большом остояцком селении Ларьяк судно рыбопромышленника Флегонта Силина ждали обычно к началу июня. Ваховские инородцы

съезжались на берега закупать товары, обменивать их на пушнину.

Вах небогат белой рыбой. В его парных заводах жирует язь, прячется в травах щука, роется в песках ёрш, окунь. На рынках такая рыба спросом не пользуется, но Флегонт Силин её скупал сушёной и умел выгодно сбывать.

Раньше в казну от ваховских инородцев поступало много соболей, куниц, белок, лисиц, но, когда прошли пожары, выгорели мхи и леса, места опустели. Боровая дичь, белка, орехи в богатых кедровниках по реке Сабуну не манили торговых людей. Зато Флегонт Силин нашёл здесь «золотое дно» и остался в этих краях самым почитаемым человеком.

На его судне были товары, которые он намеревался продать за две недели. Кроме кренделя, муки, соли и сахара, чем снабжал он остяков, Флегонт вёз трико шведское, или малистин (чертова кожа), чёрное, четырнадцативершковое, байку белую, бумазею широкую с подзором, кумач, тик, бязь, брюки, рубахи бумазейные, платки бумажные и шали разных четвертей, а кроме всяких охотничьих припасов, прихватил много бисера, бус, мыла, медные кольца, бубенчики-щелкунцы, шкатулки. Всё это помогла закупить жена, которая в прошлый год плавала с ним и своим женским умом сообразила, чего не хватает мужу для хоро-

шего торго. Избегав Ирбитскую ярмарку, она старалась как можно больше закупить «женских» товаров, за что Флегонт обещал ей купить новое поместье около столицы. «Ах, молодец Дуняшечка!» – думал Флегонт, стоя на палубе и выбивая зубами мелкую дрожь.

– Ну где он там шарашится?

В другое время он не стал бы ждать Ширяева, но теперь, когда провоз товаров по низшей пошлине во многом зависел от земского заседателя, он не желал портить с ним дружеских отношений.

Накрапывал дождь. Приткнувшись к берегу, как пиявки, торчали лодки. Бежала одинокая собака, боязливо оглядываясь по сторонам. Вдали виднелись маленькие домишки с крохотными окнами. Красивые дома рыбопромышленников были видны издали: крашенные жестяные крыши блестели, большие окна в белых наличниках смотрели на Обь.

Сургут, так же, как Мангазею и Берёзово, строили острогами. Раньше на этом месте стояли юрты остяцкого князя Бардака, а летний чум он ставил на берегу небольшой протоки Сургутки. Назвали это место Сургутил-Мугат. По преданию, князь Бардак храбро защищал свои уголья, но луки и стрелы не могли устоять перед выстрелами небесного грома. В 1794 году был выстроен острог на правом берегу реки Оби

Заседатель Ширяев торопился. Караульные из сельской стражи и двое инородцев еле поспевали за ним. Флегонт Силин догадался, что на судно ведут пассажиров, и поморщился.

– Выручай! – вбегая по трапу, говорил Ширяев. – Нежданно-негаданно пассажиров к тебе веду. Только не откажи! Христом богом прошу! Вот этих лоскутников в сохранности доставь и сдай Григорию Чердакову. И накажи, чтобы подальше убрал, у него где-то там амбары есть в Калмыцких юртах. Пусть туда их вышлет, чтобы сбежать в свои края не смогли! Без дела они у тебя не будут! Ты их вместо грузчиков возьми.

– Неужели думал, что я их почётными пассажирами повезу? На каждой пристани столько рук надо! Только с таким уговором и возьму!

– Может, и на рубашонки они у тебя заработают?

– Если не лодыри – заработают.

– Ты уж поаккуратнее с ними, а то ещё бумагой объясняться придется, – шёпотом сказал Ширяев. – А я уж больно это не люблю.

– А стражники зачем? У меня и так не убегут! Доставлю твоих самоедов в Пирчины!

Судно отчалило.

Флегонт Силин, помня наставления жены, подплывал к каждой юрте и был немало удивлён, когда остячки нарасхват покупали всякие безделушки.

«Ай да Дуняшечка! Ай да светлая головушка! – улыбался он. – Будет у тебя поместье. Это уж точно будет!»

Проплывая мимо хороших песков, Силин останавливал судно, и начиналась рыбалка.

Ваули и Мигри вместе с нанятыми мужиками целыми днями тянули тяжёлый невод, брели по колено в топкой прибрежной няше. Сырые верёвки резали плечи, на ладонях лопались кровавые мозоли. С палубы неслись сердитые окрики.

По ночам усталые рыбаки, прижавшись друг к другу, спали. А Ваули, слушая прибой волн, жил думами о родной стороне, о своём побеге.

Но приходил новый день.

На утренних травах сверкала роса, за далёкой полоской мелкоколосья розовело небо, расползались ночные тучи.

Ваули и Мигри натягивали на плечи верёвочные петли и снова тянули невод. После удачной тони, вычерпав рыбу в лодки, рыбаки разжигали костёр.

– А ну-ка, ткните того самоеда! – прокричал с палубы рыботорговец.

Ваули поднял покрасневшие от ветра глаза.

– Говорят, ты славно работаешь! И тебе пора прикрыть голый пуп! – скаля широкие зубы, кричал Силин. – На-ка, лови!

С палубы летела поношенная полотняная рубаха. Кто-то из проворных парней подхватил её на лету, подал Ваули. Ваули взял рубаху, поднёс её к костру. Пламя охватило длинные грязные рукава.

В воздухе закружились чёрные лоскутки сажи. Ошарашенные мужики глядели то на молчаливого самоеда, то на Силина.

Запинаясь о настил, хозяин бежал к костру. Издали было слышно его тяжёлое дыхание. Злость кипела в нём, как вода в котле. Он подбежал к Ваули и с силой ударил его по щеке. Толпа замерла. Ваули встал, а Мигри, почуяв беду, закричал одному ему известную молитву.

От неожиданности рыботорговец попятился, а Ваули, схватив его за ворот, плюнул в лицо и отбросил к берегу.

– Вяжите его! Он преступник! Он вор! – кричал Силин, барахтаясь в песке. – Его недавно пороли!

С судна бежали люди. Ваули схватили, связали по рукам и ногам верёвками, поволокли к вонючему трюму.

– Ничего, самоедина, ты у меня взвоешь! Сдам тебя в руки Гришке Чердакову! Скрутит в бараний рог! Вышибет норов! – кричал Флегонт, ощупывая синяк под глазом.

– Пятаком бы хорошо, – советовал учётчик.

— А чёрт их бей, эти синяки! Вот кабы домой ехал, тогда не приведи господь такого конфуза. Но этому самоеду я устрою... — грозил рыботорговец.

К вечеру стал накрапывать дождь. Палуба почернела, опустела, и только Мигри, скорчившись, сидел у стены трюма. За бортом плескалась вода, но он услышал шорох, приглядевшись, увидел на кромке борта цепкие пальцы. Скоро показалась косматая голова. Русский мужик с калёным лицом по прозвищу Сыч, который на рыбалке всегда стоял рядом с Ваули, подполз к Мигри.

— Бежать вам надо! — хрипло сказал он. — Не дай бог, к Гришке Чердакову попадёте! На цепи посадит. Страсть какой лютый. Я был в Пирчинских юртах, знаю! — У Сыча от холода стучали зубы. — Я вам лодку отвязал.

— У Ваули ремни.

— Это моя забота.

Сыч растянулся на палубе, пополз к трюму. В руках его сверкнуло лезвие ножа. Мигри замер, прислушиваясь к каждому шороху. Услышал, как проскрипела доска на ржавом гвозде.

Надвигалась гроза. Глухие раскаты грома терялись в тайге, и только отблески далёких молний освещали прибрежные кустарники.

— Сюда, — прошептал Сыч, прижимаясь к палубе. — Там она, привязана к борту. Садитесь, и с бо-

гом! — Он присел на корточки, долго держал верёвку, пока не почувствовал, что она свободна. — Счастливой дороги вам, самоеды, — шептал Сыч, — а мне в родную сторону дорога навек заказана.

Ваули и Мигри упали на дно лодки, боясь пошевелиться. Вокруг шумела и пенилась вода.

Глава 24

— Свобода, Мигри! Свобода! — говорил Ваули, направляя лодку к берегу. — Теперь, Мигри, мы доберёмся до дому.

Ваули с силой налегал на вёсла, и лодка, раскачиваясь на волнах, плыла, оставляя за собой песчаные косы, пологие берега, устья мелких речушек, впадающих в великую Обь.

И хотя до родной стороны были сотни километров, Ваули не думал об этом. Сознание, что он свободен, придавало ему силы.

— Ничего, Мигри, — обнимая друга за худые плечи, говорил Ваули. — Мы приедем домой! У тебя будет самая лучшая упряжка. Мы заколем оленя, и я всем скажу: «Люди, Мигри — мой самый лучший друг, я отдаю ему сердце оленя!» Тученбала напоит тебя тундровой травой, а Моттий Таск скажет такие слова, от которых сразу повеселеет на сердце.

— Хорошие слова ты говоришь, Ваули, от них у меня всегда щемит сердце, — отвечал Мигри, сма-

чивая пересохшие губы водой. – Не знаю, доживу ли я до таких счастливых дней. Разве ты не видишь, что я совсем потерял силы, совсем не помогаю тебе гнать лодку?

– Ты лежи, Мигри. Смотри в небо, на птиц, слушай ветер. Я один управлюсь с лодкой.

Мигри молчал, оглядывая опухшие руки, в которых не мог держать весла.

При виде казённых судов с гербами Ваули прятал лодку в кусты или выталкивал на берег, опрокидывал, чтобы немного погреться.

Подплывая к родным краям, замечали лодки, обшаривающие берега.

Побег Ваули не на шутку встревожил Флегонта Силина. «Пойдёт следствие, – думал он, – выплывет торговля недозволенными товарами».

– Нехорошо! Не-нехорошо как-то у нас, Флегонт Силыч, получилось! – говорил, заикаясь, учётчик.

– Без тебя знаю! «Не-нехорошо» – передразнил его хозяин. По красной шее Флегонта катился пот и прятался за ворот чёрной рубахи. – Не затем позвал, чтобы спрашивать, хорошо это или плохо.

– По-по-моему, надо срочно послать кого-нибудь в Сургут к заседателю Ширяеву, отписать бумагу, – говорил учётчик, – так, мол, и так. Ваши арестанты по случаю ни-ни-кудышной охраны своровали лодку и, крадучись, ночью отплыли не-

незнамо куда. Ка-а-ак были они грабителями, та-а-ак и остались.

Учётчик от волнения щёлкал суставами пальцев.

– Да перестань ты кости ломать! – прикрикнул хозяин.

– ...И надо добавить, – продолжал учётчик, – мол, потому спешу вас у-уведомить, чтобы вы приняли меры к их поимке, а ежели они встретятся нам в Пи-ирчинской стороне, мы промашки не сделаем. Будем вязать их по рукам и ногам.

– Молодец, Гордей, молодец! – похвалил Флегонт.

– Ка-ак-никак, а своя рубашка ближе к телу, – ответил учётчик.

– Пиши! Да не забудь прописать, что они своровали, окромя лодки, топор и лопату.

Сургутский заседатель, получив тревожную весть от Флегонта, тоже испугался и, сочинив за ночь обстоятельное письмо, срочно послал пакет в Берёзово уведомить власти, что их самоед Ваули Пиеттомин и остяк Мигри Войтин по пути в ссылку бежали.

– Болотами Ваули в свой самоедский край сейчас не убежит, – узнав о побеге Ваули, говорил исправник Скорняков. – Берёзова не миновать. Тут надо его и ловить. А если прошмыгнёт – тогда ищи ветра в поле. Тогда он... – но исправник не

высказал вслух, что случится тогда, а распорядился усилить наблюдение за рекой. — По реке пошла шуга. Короткое лето кончилось. На лодке без одежды и еды далеко не уедешь, всё равно к рыбакам выйдут.

Исправник был прав. Голод валил Ваули с ног, а Мигри уже был не в силах подняться.

— Скоро, Мигри! — говорил Ваули, когда на реке стало не видно противоположного берега. — Такая Обь ближе к нашему Ямалу.

Но Мигри не отвечал. Лицо его раздулось, стало рыхлым, отёкшим. «Хлеба надо, соли надо», — Ваули.

— Завтра, когда на берегу я увижу рыбаков, подплыву к ним и попрошу хлеба, — сказал Ваули.

— Нет! — закричал Мигри, вскочил в лодке. — Ты хочешь снова в острог? Я хочу умирать в тундре! Я хочу слышать ветер тундры! — говорил он. Губы его дрожали и кривились,

— Скоро, Мигри, мы ступим на землю наших отцов, и ноги понесут нас, как ветер.

А утром совсем неожиданно липкими хлопьями повалил снег. Пора было оставлять лодку. Ваули с трудом вышел на берег.

Поодаль виднелось покрытое тонким льдом озеро. На высоких пожелтевших кочках повисла жёсткая осока, во мху блестели ледяные ягоды клюквы. Он хотел пройти дальше, но пошатнулся.

«Надо торопиться, надо торопиться! – настойчиво стучало в висках. – Если упаду, то не хватит сил подняться».

На свежавыпавшем снегу Ваули заметил собачий след.

– Собака! Совсем недавно здесь была собака! – крикнул он Мигри.

– Я давно слышу собачий лай, – не открывая глаз, ответил тот.

– Вставай, Мигри, вставай! Я слышу, как вкусно пахнет дымом. Где-то совсем рядом живут люди!

У косматой ели стоял низенький берестяной чум. Пятнистая остроухая собачонка лаяла отрывисто, подскакивая на высоких чёрных лапах. На лай никто не выходил. Придерживая рукой Мигри, Ваули свистом звал лайку к себе. Собака завиляла хвостом и, показав острые зубы, убежала за чум.

– Ань торово! – сказал Ваули, заметив у огня сторбленного человека. Худой ворот рубахи еле прикрывал серую шею, седые волосы были аккуратно положены за уши.

– Ань торово! – ответил он.

У Ваули перехватило дыхание, перед глазами поплыли дымные стены чума.

– Иди к теплу, человек! – сказал старик, ощупав ладонью земляной пол, усталый еловыми ветками – Садись, сынок, ты был в большой дороге! –

Голова старика была поднята вверх, и только вместо глаз на путников смотрели большие бельма. — В моем чуме ты не найдешь мяса, но поешь рыбы, выпьешь горячего чаю. — Старик протянул вперед руки. — Дай я потрогаю твоего товарища. Он стонет. — Старик погладил лицо и волосы Мигри. — Ему надо оленью кровь! Только она вернёт ему силы! — сказал старик и снова подвинулся к огню.

В берестяном чуме морило и клонило ко сну. Ваули сел, подобрав под себя ноги. «Домой, домой! — стучало в висках. — Скорее к своим!»

Ветер стучал тяжёлыми хлопьями снега в старые стены чума. Среди непогоды, завывания ветра Ваули отчетливо слышал оленьи шаги и, не поднимая головы, спросил:

— Может, отец, ты дашь нам своих оленей. Я верну их тебе. Клянусь священной птицей гагарой.

Старик заворочался на шкурах. Кашель долго душил его, не давая сказать ни слова. Потом положил ноги в тёплую золу, стал громко чихать.

— Хорошие у тебя уши, сынок! — ответил старик. — На болоте пасутся два быка и одна важенька. Это всё моё богатство. — Старик замолчал, повалился на шкуры и долго лежал не шевелясь. — Бери! Видно, пришло время тебе расправить крылья. Видно, дорога у тебя широкая, раз такое горячее сердце.

– Мигри, ты слышишь? – обрадованно закричал Ваули. – Нам дают оленей. Они быстро понесут нас по снегу. Ты слышишь, Мигри?

В ответ друг простонал, приоткрыл глаза, еле пошевелил губами, силясь что-то сказать.

– Ты что, Мигри? Друг мой!

Но Мигри, не открывая глаз, резко вытянулся, повернув вверх жёлтое лицо.

Ещё раз ощутив рукой лицо, старик сказал:

– Ему не надо оленьей крови. Он сильно устал.

Ваули сел к изголовью друга, поправил на голове густые волосы, бороду, провёл ладонью по холодному лицу и сел, не веря, что больше никогда не услышит его голоса.

– В дорогу ты надень мою старую малицу, она согреет тебя, – сказал старик. – Может, в тундре ты встретишь моих сыновей, они ушли к Ваули Пиеттомину, говорят, его принесли обратно в наш край гагары на своих крыльях.

Ваули встал перед стариком на колени, схватил его холодные, как осенние прутья, пальцы.

– Тебя ищут, Ваули. Разве я мог не дать тебе оленей? Я сразу учуял твоё горячее сердце. Тебя к нам послал сам Нумо. Так говорят в тундре. Поезжай. Тебя ждут все бедные люди.

Глава 25

Больше недели неслась упряжка по тундре. Олени, останавливаясь, толстыми губами хватали снег. Вдали синел горизонт. Полярная звезда, яркая и дрожащая, сияла над головой. Перед Ваули расстилалась тундра. Сколько раз он видел её во сне! Сколько раз хотелось припасть щекой к её холодной земле! Впереди чернели лесные урманы рода Рононов, а дальше... пойдут озёра и болота рода Хозовыко. Дерзкая мысль пришла Ваули в голову. «Не надо, Ваули, но надо. У тебя мало сил!» – уговаривал он себя, но, казалось, какая-то неведомая сила гнала упряжку в сторону урочищ его бывшего хозяина.

Хозовыко по-прежнему каслал в низовьях Потуя. Ничего не изменилось в его жизни. Жёны целыми днями перебирали шкурки песцов и лис, скоблили с них жир, а когда наступала ночь, он звал к себе старую жену Ватану. Она долго растирала тёплыми руками его волосатые ноги, которые по ночам не давали покоя.

На днях он выбросил из чума сало гагары – но это не помогло ему, заставил сжечь в огне медвежьё шкуру, в которую на ночь заворачивал ноги, – тоже напрасно. Одна надежда была – на заклинания шамана Ламби.

– Сегодня мне снился плохой сон, – стонал Хозовыко, когда горбатый Ламби присел к нему. –

Приснилось, что пастух Езек набросил мне на шею тынзян, привязал, как быка, к нарте, долго хлестал ремнями. Когда я проснулся, у меня болела шея. Как разгадать этот сон? – спросил он шамана.

Шаман-горбун молчал. Колбочие глаза его видели, как страх одолевает хозяина.

– Кто начинает видеть сны, тот сам может шаманить! – наконец ответил Ламби.

– Не думаешь ли ты, Ламби, что этот сон станет правдой? Тогда учи, что делать! Чего ты молчишь? Скажи хоть слово! – просил Хозовыко. – Я пошлю Езека пастухом в самое дальнее стадо или могу наградить его оленями. Зачем ему убивать своего хозяина?

Шаман молчал. С тех пор как он оставил свой умирающий род, прошли годы, но тревожные мысли всё чаще приходили к нему. «Я трус, я заяц! – говорил он себе. – Я испугался и оставил всех на верную смерть, а род Ненянгов живёт! Род Ненянгов – гордый род! Другие давно бы просили меня вернуться, Ненянги – нет! Хорошо бы сейчас уйти к ним. Хорошо бы умереть у ног старого Моттия Таска».

А Хозовыко ждал от шамана утешительных слов.

– Подай мне кованый сундук! – морщась от боли, сказал Хозовыко. Кусок дорогой парчи упал к

ногам Ламби. — Бери! Ты сошьёшь себе малицу, как у русского попа! Ты будешь наряднее всех шаманов! Только скажи мне всю правду о сне! Или ты вместе с вкусным мясом моих оленей проглотил свой язык? — не вытерпев, закричал старшина.

— Мой бубен устал, колотушка скосилась, слов моих больше не слышит Нумо, — Неожиданно сказал Ламби. — Но до того как я уйду к верхним людям, скажу всем: «Ваули из рода Ненянгов не нуждается в шаманах, он сам великий шаман!» — И Ламби, припадая к земле, вышел из чума.

Упряжка Ваули подъезжала к стойбищу Хозовыко. На голубоватом небе завивались в колечки тонкие струйки дыма над рядом островерхих чумов. Он остановил упряжку в тальниках, надел лыжи и прислушался к шорохам. Услышал звон серебряного колокольчика на шее священного оленя. «Значит, Хозовыко дома». Подойдя поближе, Ваули увидел сидевшего на пустой нарте человека. Маленький оленёнок лизал его руку.

— Сдохла твоя мать от копытки. Теперь ты сирота. Я помогу тебе дожить до весны. Там у тебя вырастут рога, станут крепкими ноги, и ты вместе со стадом пойдёшь на Урал, к горам. Там вкусный ягель.

В разговорчивом самоеде Ваули узнал пастуха Слева, дотронулся до его плеча. Слев обернулся, сполз с нарты в снег и пал на колени.

– Кто в чуме? – спросил Ваули.

– Ваули, Ваули, – зашептал старик, хватаясь руками за его худые, облезлые кисы. – Люди говорят правду: гагара несёт тебя на крыльях в родные края!

У Слева хватило сил показать ему один скрюченный палец.

Хозовыко сидел у тлеющих огней чувала. Не оборачиваясь, спросил:

– Кто там? Или Слев уснул на нарте?

– По обычаям моего народа, путнику с дороги говорят: «Ань торово!» – ответил Ваули.

– Ага, ага! – заторопился Хозовыко, и чашка выпала из его рук. Он ещё не видел Ваули, но тревога охватила его, по спине пробежала дрожь – У моего огня много места! – говорил старшина, неуклюже поворачивая толстую шею.

– Или ты забыл меня, хозяин? – подвигаясь к огню, спросил Ваули.

– Ваули, Ваули! – завопил Хозовыко, закрывая глаза ладонями. – Сколько тебе надо оленей? Бери, не спрашивай, – хрипло говорил Хозовыко. В мыслях прощаясь с жизнью. Вот она, петля, которой во сне хотел его удушить пастух Езек. Он часто и громко задышал, как издыхающий олень.

– Не притворяйся лисой! Я знаю, чего стоят твои ласковые слова. Я помню, как в Берёзове ты скалил зубы и смеялся от радости.

– О-о-о! – протянул Хозовыко, повернув лицо к Ваули. В его голове шумело, будто забушевали все ветры тундры, а на глаза накатывалась ночь. Он сидел безразличный, шея ослабла и еле держала непослушную голову.

– Мне надо хлеба! – сказал Ваули.

– Бери, бери! – сказал Хозовыко. – Позови Слева, и он отдаст тебе всё, что я прикажу.

– Если я услышу бег твоих упряжек, то пошлю на твою голову гнев всех обиженных тобою людей.

Хозовыко уже не слышал его. Он лежал на шкуре, потеряв сознание. Слева сидел подле него и боялся кого-нибудь позвать на помощь!

Упряжки Ваули бежали к родным урочищам. «Ещё один попрыск – и я увижу родные чумы», – думал он. Ваули остановил упряжку, вгляделся в след, стараясь узнать, чья нарта пробежала вдоль берега. «Тут проехал Вырпаду. У его нарт широкий полоз. Он ехал один. Он торопился», – подумал Ваули, представляя сутулого сильного старика.

На берег выскочил заяц, встал столбиком, наторпил лопастые уши. Ваули свистнул, заяц подпрыгнул, перевернулся через голову и понёсся с крутого обрыва к полынье. Ваули вдогонку несколько раз хлопнул в ладоши. Он хотел прокричать, как это делал всегда, когда возвращался с охоты, но передумал, представив взгляд Тученбалы.

– О, Тученбала! Сколько раз ты приходила ко мне во сне! Сколько раз в остроге я слышал твой голос! – вслух говорил Ваули и, не в силах удержаться, гортанно прокричал: – Эк-кей! Эк-кей!

Эхо далеко разнесло его крик, Тученбала вздрогнула, прижала и себе берестяную люльку, тихо запела, глотая слезы:

Пурга дует... Уголёк
Скрылся в тёмный уголок
Ты возьми, Ваули, стружек,
Стружек брось мне в огонёк,
Чтобы в бурю и ненастье
Уголёк принёс нам счастье.
Поскорой уху варите,
Хлеба русского купите,
Подогрейте Ваули,
Обогрейте Ваули,
Пурга дует... Уголёк
Скрылся в тёмный уголок.
Слышу лай и вой собак –
Вот идёт родной Ваули.

Тученбала снова услышала крики, сжалась, обхватила голову, стараясь прикрыть ладонями уши. Она боялась, что своим криком испугает Моттия Таска. Но налетевший ветер опять принес голос Ваули, Тученбала вскочила и закричала на весь чум:

– Ваули пришёл! Я слышу его голос!

Моттий Таск вскочил, хотел успокоить её, но Тученбала уже выбежала из чума и криком сзывала людей.

– Ваули идёт! Я слышу его голос! – кричала она, вскакивала на нарту, вглядываясь вдаль.

Люди пожимали плечами и уходили обратно.

– Тученбала часто видит такой сон, – говорил Моттий Таск.

– Люди! Разве вы не слышите его голос? Это идёт Ваули!

Тученбала бежала, проваливаясь в снег, падала, поднималась и снова бежала.

– Тогомпадо, верни Тученбалу! – сказал Моттий Таск. – Ей всегда кажется, что к нашим чумам приходит Ваули и она слышит его шаги. Верни её, или она замёрзнет в снегу.

Глава 26

Весенней птицей облетела тундру весть о возвращении Ваули. У одних она вызывала восторг и радость, у других – страх. Даже сородичи первое время глядели на него украдкой, осторожно дотрагивались рукой, чтоб поверить в его земное существование.

– Чёрный, как земля, наш Ваули, – говорили между собой женщины и думали, какими травами его поить, чтобы вернулась к лицу кровь.

В стойбище к зиме не было никаких припасов, кроме сушёной бессолой рыбы. На ярмарку не съездили, а добытая пушнина разошлась шкурка по шкурке.

Голод преследовал людей, как волк стадо оленей. Ваули знал, что каждый день его сородичи начинают с заботы о куске мяса, о клочке оленьего камуса, чтобы починить поношенные кисы или малицу.

«Нет, так жить нельзя. Тундра наша богата. Люди наши не лежебоки, они днями ходят в поисках зверя, добывают его, а потом за бесценок меняют у купцов, а сами опять остаются нищими», — думал он, и эти мысли не оставляли его в покое.

— Ты совсем не живёшь на земле, ты только ходишь по ней, а думы твои летают в небе, — шептала Тученбала, припав губами к его щеке. Она, тяжело пережившая разлуку с мужем, не могла поверить, что он в родном чуме, что она может услышать его голос, прикоснуться к его руке.

— Пиеттомин мой, Пиеттомин. — вздыхала Тученбала, дотрагиваясь до спины мужа, на которой прощупывались затвердевшие рубцы от ударов плетей. — Все люди без тебя были как птицы без вожака. Недаром гагара дала тебе свои крылья, а теперь, Ваули, ты побудь с нами. Я совсем не вижу твоих глаз. Они смотрят мимо меня, мимо Моттия Таска, мимо нашего Хондли.

– Подожди, Тученбала, – останавливал её Ваули. – Подожди.

– Тогда скажи мне, какие думы живут в твоей голове, – настаивала она. – Скажи.

Но Ваули молчал. Не мог он доверить женщине свои тайны.

В берестяной люльке заплакал маленький Хондли. Ваули подтянул короб к себе, развязал ремешки. Хондли выбросил потные ручки, потянулся к отцу.

– Скоро вырастешь сильным охотником, – говорил Ваули. – Дед смастерит тебе большой лук, как у Ямо, и ты будешь храбрым воином!

Хондли тянулся к отцу, острыми ноготками царапал его шею, теребил волосы, хватал влажными губами щеку.

– Тереби, тереби его, Хондли, – говорила счастливая Тученбала. – Пусть он запомнит твои ручки, а то он совсем не знает их...

За чумом слышались громкие голоса. Тученбала приподнялась. Взгляд её стал тревожным.

– Ты чего, Тученбала? – спросил Ваули.

– Это приехали за тобой. Это приехали за тобой. Они опять возьмут тебя от нас. Я знаю, – говорила она, хватая Ваули за руку.

В чум вместе с Тогомпадо вошли двое мальчишек-подростков. Ворс давно стёрся, осыпался с их малиц, на локтях и подоле большие заплаты, из стоптанных кисов торчат клочья оленьей шерсти.

– Кто они? – спросил Ваули у Тогомпадо.

– К ним, в урочища остяков, приехал старшина Ядко со своей женой, они забирают у охотников всё, даже детей. У них взяли маленькую сестрёнку.

– Нам сказали, что только один Ваули Пиеттомин может помочь бедным людям. В тайге говорят, что его принесли на своих крыльях гагары помогать бедным.

– Не езд, Ваули, не езд! – кричала Тученбала. – Там опять готовят ловушку.

Она слышала, как Ваули надевал малицу, как застегнул на резной пряжке пояс с ножами и амулетами, как достал колчан со стрелами.

– Разве Ваули не поедет, если позвали его люди... – говорила она сквозь слёзы.

– Кто ещё поедет со мной? – спросил Ваули.

– Кого позовёшь, тот и поедет. Разве кто-нибудь может не послушаться твоего слова? – ответил Тогомпадо.

Узнав, что Ваули собрался поехать в урочища казымских остяков, многие зашептались, вспомнив, как остяцкие старшины хотели занять урочища Ненянгов.

...Десять упряжек пять дней бежали в сторону Казымской тундры, пересекали устья нешироких рек, болота с высокими кочками, которые ещё не замели снега, и нарт, ударяясь об оледенелые кочки, скрипели. Наступала ночь, чернел лес, и по

еле приметной дороге олени бежали тише. Ваули. представлял встречу со старшиной Ядко. Он знал, что в эту пору по тундре и тайге разъезжают сборщики ясака, скупают лучшие меха, собирают долги с охотников.

На рассвете, когда солнечные лучи осветили снега, Тогомпадо остановил упряжку, заметив свежие следы оленьих нарт.

— Это их след. Я запомнил его по полосе на полозе, — сказал один из парней. — Это нарта старухи Туетуи.

— Какая ещё старуха? — переспросил Ваули.

— Ядко второй год ездит по тундре с Туетуей. Она злая и жадная.

Ядко стал старшиной и хозяином десятитысячного стада, когда взял в жёны старую Туетую. «Ничего, — успокаивал он себя. — Долго Туетуя жить не будет, а я буду богат. Туетуя много жила, она много знает».

— Не надо слушать охотников. У них всегда много пушнины, — наставляла Туетуя. — Ты бери всё! Можно малицу, кисы, котёл, шаль и даже ребят! Русскому царю возят меха, всё остальное продают на ярмарке, — учила она Ядко. — Ты поезжай в Казымскую тундру, к озеру Нумто. Разве был бы богат старый Вылко, если бы не знал дороги к Нумто? Где бы он взял столько оленей?

Я сама поеду с тобой! Дорога на Нумто дальняя! Ты без меня не доедешь!

И Туетуя поехала с Ядко в Казымскую тундру.

— Туда, туда! — махала она рукой в сторону леса, где показалась низенькая, срубленная из тонких брёвнышек юрта. В углу на высушенной траве сидели полураздетые ребятишки. Кожа обтянула сухие лица, руки в суставах опухли. У огня, прикрыв подолом колени, сидела женщина. В чёрном, закопчённом котле бурлила вода.

— Где твой муж?

— Хоя Той умер! — не поворачивая головы, ответила женщина.

— Он наш давнишний должник! — добавил Ядко.

— Знаю, но у нас и теперь нечем платить. У нас нет ни одного оленя.

— Когда будешь отдавать долг? — наступала Туетуя.

— Если моих сыновей не задавит зверь и они добудут пушнину, мы будем отдавать долг. Разве ты не видишь, какие мы бедные? — Женщина встала перед Туетуей, худая, высокая, как дерево, высохшее на корню. — Мои дети опухли! Они едят только рыбу без соли. У них совсем не растут руки и ноги!

— Давай долг! — кричала Туетуя.

— Бери! — показала мать на перепуганных детей.

Туетуя худыми, острыми пальцами схватила за подбородок одного, второго, третьего и посмотрела во рту, как это делают охотники, выбирая новорожденных щенков.

– Хуже вшивых собак! Каждый из них сдохнет по дороге! – кричала самоедка.

– Шибко бедно живут! – ответил ей Ядко.

– А ты думаешь, раньше они богаче жили? Если смотреть на их бедность, сам будешь ходить с пустым брюхом. Возьми вот эту девчонку! У неё чистые глаза и хорошие волосы.

– Не дам! – крикнула мать, разбросав по сторонам руки, как копалуха крылья.

Ядко вытащил из угла перепуганную девочку. В эти минуты слышался звон колокольчиков. Самоедка приподняла косматое ухо собольей шапки и с криком выскочила на улицу.

– Воры! Воры! – Кричала, задыхаясь, Туетуя. Попыталась бежать, но запнулась и упала. – Это её сыновья угнали нашу упряжку! – Она кружилась по юрте, как подраненная волчица, не зная, что делать. В ярости пинала поленья дров, ударила по лицу Ядко. – Бери девчонку, или я оставлю тебя тут. Ешь вместе с ними бессолую рыбу. Пусть кричит, пусть кричит, – выдыхала Туетуя, обтирая со лба пот. – Двух не выкричит, одна будет... Надоест... На морозе голос враз перехватит.

Ядко старался не смотреть, как Туетуя ремнями привязывала девочку к нарте, обернув в оленьи шкуры.

— Разве быть тебе старшиной? — говорила Туетуя, тяжело дыша и сплёвывая в снег горькую слюну.

Уставшая в долгой езде на оленях, она полулежала на нарте, упершись спиной о туго связанные меха, которые удалось собрать за дни поездки по Казымской тундре. «Нет. Видно, это моя последняя поездка. Нет, Туетуя больше никогда не поедет по тундре. У Туетуи уходит из глаз свет», — думала старуха. Но, заметив следы, идущие к юрте Лакцуйки, нашла в себе силы прыгнуть с нарты и бежать рядом, чтобы размять отёкшие ноги.

— Теперь ты, наверно, найдёшь меха, чтоб отдать свой долг? — потребовала Туетуя с порога. — Если не отдашь, мы увезём тебя в Обдорск. Там, как с белки, с тебя сдерут шкуру!

Лакцуйка еле поднялся со шкур. Кашель душил его.

Дверь в юрту неожиданно открылась. Туетуя чутьем угадала беду, взвизгнула, и в руках у неё блеснул нож.

— Видно, воронье вам выклевало глаза, и вы не видите, как живут люди? — закричал Тогомпадо, хватая старуху за руку.

– Это Ваули, Ваули! – запричитала старуха, сжимая посиневшие кулаки.

Ядко в испуге полез под шкуры, на которых лежал больной Лакцуйка.

– Какие волки съели твоё сердце? – крикнул Ваули Туетуе. – Когда наши предки брали друг у друга детей? – кричал он Ядко. – Снимай свою соболью шапку! – приказал Ваули Туетуе. – Снимай малицу!

Морщинистое лицо старухи побледнело. Нижняя губа отвисла.

– Снимай! – крикнул Тогомпадо, стащив с её головы соболью шапку,

– А эту надень в дорогу. А то сдохнешь, как старая важенка – бросил Тогомпадо к её ногам облезлую малицу хозяина.

– Ты тоже оставь свой тёплый «гусь» ребятам! – сказал он перепуганному Ядко. – И убирайтесь из тундры! Чтобы духу вашего не было!

Туетуя торопливо натягивала малицу, дрожала и ёжилась на ветру, от злости и страха не в силах выговорить ни слова.

Глава 27

Перепуганный появлением Ваули, Хозовыко долго не мог опомниться, почернел лицом, осунулся, глаза провалились, язык плохо выговаривал слова. У шамана Ламби падали из рук колотушка

и бубен, он еле переставлял ноги. Напоив старшину «святой водой» из настоя трав и грибов, Ламби выходил из чума и снова спрашивал Слева, не ошибся ли он, в бедном наезднике признав Ваули.

– Я слышал его голос. Я сам давал ему муку, – говорил батрак.

«Ваули летит в родное гнездо, как птица, – думал Ламби. По щекам колдуна бежали слёзы. Он вытирал их ладонями, шумно дышал широким носом и долго сморкался в подол длинной расшитой рубахи. – Душевная слабость пришла ко мне, пришло время расставаться со своим бубном», – думал он, возвращаясь в чум.

Мимо него пробежала к огню младшая жена Хозовыко. Маленькая, хрупкая, она присела на корточки у огня, бросила хворост. Пламя выхватило круглое розовое лицо, и шаман увидел багровое пятно на её щеке. «Опять Хозовыко бил девуку», – понял он и отвернулся. Пятнадцатилетняя дочь пастуха Юкара боязливо посмотрела в его сторону и, уловив взгляд, прижалась в угол.

– Это правда, что Нумо велел выдать меня замуж за Хозовыко? – услышал Ламби тихий голос. – Я знаю, Нумо не говорил тебе это.

Шаман не успел обернуться, как она, всхлипывая, пробежала мимо него.

«Как это девка посмела так говорить со мной?» – подумал Ламби и выскочил из чума без

малицы. Всё тело его дрожало, часто стучали зубы, тяжёлый подбородок подпрыгивал на высокой груди. Ветер трепал космы, а он стоял не шевелясь, будто окаменел.

– Ламби, у тебя такая же кожа, как у нас. Тебя тоже родила самоедка. У тебя может замерзнуть от холода сердце, – сказал Слев, подходя к шаману.

Шаман повернулся к пастуху. Увидев его лицо, Слев попятился. Ламби был белый как снег.

– Ламби больше не шаман, – сказал он хриплым голосом. – В тундру вернулся Ваули. Вся сила моя перешла к нему. Пойдем со мной.

И Ламби повёл Слева к священной нарте. Он шёл, спотыкаясь о снег, падал, долго барахтался, вставал и снова падал.

Перерезав ремни на нарте, достал круглый железный обруч с маленьким оленьим рожком. Долго держал его в руках, потом поцеловал в середину, где был подвешен серебряный колокольчик.

– Возьми это, – сказал Ламби Слеву. – Возьми, передай Ваули и скажи: это послал Ламби, когда его позвал к себе Нумо. Спрячь всё в снег и, как только на небе взиграет сполох, бери мои упряжки и поезжай к Ваули.

Слев не мог вымолвить ни слова.

– Не ищите меня! Я пошёл к верхним людям, – сказал шаман и, пошатываясь, побрел вдоль берега реки.

Глава 28

Недолго Ваули жил спокойно. Безысходность, беднота не только своего рода, но и всех, кто стал изредка поворачивать свои нарты к стойбищу Ненянгов, тревожила его. С болью он принимал каждую весть об умершем человеке, о болезни детей, о зарезанных волками оленях.

— Зачем так вздыхает Ваули? — говорил Моттий Таск — Так всегда было, так всегда будет.

— Ты же сам говорил, что наш род знал много песен, наши люди умели справлять праздники, оленьим стадам знал счёт только старшина рода.

— Это давно было. Я стал забывать те счастливые дни. Мне кажется, что я всё это видел во сне, — отвечал дедушка, пряча взгляд от Ваули.

— Неужели всю жизнь — в страхе перед голодом? Ты знаешь, что он скоро опять придёт к нам. Оленей Хозовыко осталось мало. Мы скоро снова наденем ременные лямки и опять потащим на себе нарты.

— Не говори, Ваули, таких слов, — просил Моттий.

— Не все живут так бедно, — продолжал Ваули, присаживаясь около Моттия Таска.

— Конечно, не все, — соглашался старик. — Но разве мы одни живём бедно? Разве ты не видишь, как голод гоняется за родом Миву, Лямо, Хобзе?

— Скажи, что делать? Скажи. Ты прожил больше. Ты знаешь.

— Не знаю, — ответил старин. — Когда я был молодым, как ты, я думал, что надо бить богатых старшин, кто отнимает у бедных последних оленей, я думал, надо заставить князя не посылать в бедные рода сборщиков ясака. Но я боялся вслух говорить такие слова. Разве Хозовыко, старая Туе-туя или Айваседа отдадут кому-нибудь хоть одного оленя? Не отдадут.

Моттий говорил шёпотом, потом он отвернулся и три дня не поворачивал к очагу лица. И только когда Тученбала поднесла к нему маленького Хондли, и малыш потянул его за тонкие косички, радостно взвизгивая, Моттий повернулся, приподнял опухшие веки, посмотрел на Тученбалу. «Какая ты добрая» — говорил взгляд старика, а Тученбала заторопилась положить перед ним кусочек мороженого мяса.

Все эти дни Моттий Таск мучительно переживал, что высказал свои сокровенные думы Ваули, натолкнул внука на самое страшное, что может случиться в их жизни. «Нет, Ваули не догадается завести со мной разговор о бунтарской стреле. О ней давно все забыли. О ней помнят только старые люди», — думал он.

Тученбала поняла, что Моттий Таск стонет не от боли, а от своих дум.

– Я знаю, – сказала она. – И ты, и Ваули храните от меня какие-то мысли. Он все время молчит, и ты тоже. Ваули при мне не разговаривает ни с Хонзали, ни с Тогомпадо. Он всегда уходит из чума не все мужские разговоры надо знать женщине, – ответил Моттий. – У них есть свои дела.

Вечером Моттий Таск сел к огню. Ваули подсел рядом и молча протянул ему стрелу. Старик вздрогнул, выхватил её из рук Ваули и трясущимися руками стал прятать под шкуры.

Тученбала смотрела исподлобья, не в силах скрыть волнение. Чёрные брови её будто переломились.

– Ты чего, Тученбала? – спросил Ваули, заметив перемену в лице жены.

Тученбала уткнула лицо в ладони, потом упала на шкуры, не поднимая головы.

– Они убьют тебя, – шептали ее губы. – Они всё равно убьют тебя, если ты отправишь по тундре бунтарскую стрелу.

Ваули догадался, что Тученбала нашла под шкурами стрелу, которую он точил из дерева по вечерам и делал на ней зарубки соседних родов.

– Ни один хозяин бунтарской стрелы не оставался жить. Их убивают или старшины богатые, или русские – всхлипывала Тученбала.

Слушая её слова, Ваули хмурился. Он хотел прикрикнуть на жену за то, что говорит не те сло-

ва, какие надо говорить женщине, но не мог. В голосе Тученбалы было столько тревоги и столько горя, что он в растерянности остановился.

– Ваули, пожалей нас. Ты собираешься оставить сиротами весь наш род. Они убьют тебя. Я знаю, это ты научил всех думать о бунтарской стреле. Я знаю, только в твоей голове живут такие мысли. Давай бросим стрелу в огонь, и пусть думы о ней разнесёт ветер.

– Не забывай, Тученбала, – крикнул Моттий Таск, вскочив со шкур, – дело женщины – рожать детей, шить одежду, кормить семью и собак. Как смеешь ты говорить такие слова мужу? Как посмела ты вмешиваться в дела мужчин?

Моттия Таска трудно было узнать. Он стоял возле Тученбалы, сжав кулаки. Тонкие жилы бугрились под жёлтой морщинистой кожей, а в глазах появился такой блеск, что Тученбала испугалась его и съежилась.

– Пускай, сынок, по тундре бунтарскую стрелу. Пускай, – сказал Моттий Таск. – Пусть вспомнят люди старые времена, когда они умели ходить в походы. Пускай, сынок, бунтарскую стрелу. Видно, сам Нумо говорит тебе такие слова.

Утром загремели удары бубна. На нарте, усталой оленьими шкурами, стоял Ваули. Одетый в новую малицу, опоясанный широким поясом с амулетами, он стоял, широко расставив ноги.

Вглядываясь в лица сородичей, Ваули ждал, как примут они его слова – послать по тундре и тайге бунтарскую стрелу. В сердце его жил страх, но никто не знал об этом, кроме него самого.

– Братья! Ненянги! – сказал Ваули громко, когда смолкли удары бубна. – Когда человека впереди ждёт большое дело, старики говорят: «Не делай один большие дела. Спроси у своего народа». И ещё говорят: «Не ошибись. Даже на хорее есть сучья». Я хочу вам сказать, Ненянги, такие слова: мы надумали послать по тундре и тайге бунтарскую стрелу, но прежде решили спросить каждого и узнать: как нам жить дальше? Согласны ли вы, люди племени Ненянгов, взять в руки большие луки? Или пусть управляют богатые старшины и князь Тайшин, а наш народ будет вместо мяса грызть кости, вместо оленей сам впрягаться в нарты, вместо тёплой одежды носить облезлые малицы?

Над толпой пронёсся ропот.

– Правильно говоришь, Ваули! – закричал Хонзали.

– Надо выгнать из тундры богатых старшин! – крикнул Тогомпадо.

– Но они сильнее нас, – отвечал Ваули.

– На родной земле и заяц силён. Ягодку по ягодке собирать – туесок полон будет! – сказал Моттий Таск.

– Чего ты говоришь, старик? – закричал Вырпаду, подбегая к Мотию Таске.

– Я хочу спросить стариков, – заговорил снова Ваули. – Надо ли нам брать луки? Стоит ли идти в Обдорск?

– Что ты надумал, Ваули? – снова закричал Вырпаду, подбегая к нарте. – Они перережут нас, как больных оленей. Они не оставят в живых даже наших детей.

– Мы пошлём по тундре и тайге стрелу. Мы соберём всех, кто устал жить в голоде, в страхе за свою жизнь.

От волнения Ваули кашлянул, поправил на шее ворот малицы и, наклонившись, достал бунтарскую стрелу. Увидев её, мужчины рода Ненянгов напряжённо замолчали.

– Давно, шибко давно не ходила по тундре бунтарская стрела. Раз она собирает всех людей тундры и тайги – значит, в ней великая сила, – тихо сказал Моттий Таск и первым дотронулся до стрелы в знак своего согласия с думами Ваули. Так сделал каждый мужчина из рода Ненянгов.

...Везти по стойбищам и чумам бунтарскую стрелу доверили Хонзали и Тогомпадо. Им снарядили лучшие упряжки. Женщины сшили им новые малицы и кисы. Бунтарскую стрелу положили на отдельную упряжку, привязали к нарте, прикрыв оленьими шкурами.

Они выехали из стойбища в ночь, когда на небе не было ни облачка, ни тучи, а яркие звёзды, взобравшись высоко, водили хоровод и, словно боясь лунной красоты и величия, изредка дрожали и гасли, теряясь.

— Кто первым будет брать стрелу в руки? Кто будет говорить слова, которые велел сказать людям Ваули? — спросил Хонзали — Совсем скоро будут чумы рода Миву. Разве ты не видишь следы на снегу.

— Бери первым ты.

— Ладно, возьму — согласился Хонзали, успокаивая себя тем, что делал её не кто-нибудь, а Ваули, который сам из рода Ненянгов.

В роде Миву их встретили приветливо. Старшина Вылку долго вертел в руках стрелу, ощупывал её, рассматривал. Позвал в чум стариков и, усевшись возле огня, острым ножом оставил на ней свою зарубку, сказал:

— Давно надо было отправить по тундре такую стрелу. Видно, не находилось такого храбреца, как ваш Ваули.

Глава 29

— Плохие вести не лежат на месте, — заседатель Соколов, расхаживая по управе. — И какая это сволочь охраняла его так? Не успели опомниться, а он уже у Хозовыко побывал, Ядко раздетым из

тундры выгнал. И что это за бунтарская стрела, отправленная по тундре? Я спрашиваю, что это за бунтарская стрела объявилась? – закричал он на Тайшина.

– Шибко страшно, когда по тундре бунтарская стрела ходит, – перевёл Ипполитко слова князя. – Надо посылать в Берёзово бумагу. Надо просить казаков с ружьями. Надо гнать в тундру триста-четыреста оленей, – говорил князь.

– Уходи, чтобы глаза мои тебя не видели, – еле сдерживая гнев, говорил заседатель.

«Это же гибель карьеры. Конец всему! Кто простит мне самоедский бунт? – думал Соколов, оставшись один. – А если промолчать? Пусть идёт своим чередом. Возможно, эта бунтарская стрела и выеденного яйца не стоит, а я всех на ноги подниму. Кому больше всех достанется? Мне. Быть может, у страха глаза велики? Бунтарская стрела! И откуда только в голову этому самоеду приходят такие мысли? Молчать. Только молчать надо. Скорее бы зима пришла, а там видно будет. Может, со сдачей ясака как-нибудь выкрутимся, а там уеду».

Урядник Шахов вошёл в управу. Шумно усаживался около печи, сгребал снег с пушистых усов.

– Морозище завернул. Птица на лету крылья морозит!

Заседатель молчал. Это насторожило урядника: знает ли заседатель о Ваули Ненянге? Перебрал в памяти свои промашки и, не чувствуя за собой никакой особой провинности, весело стал рассказывать о городских новостях: о том, что приказчик по пьяному делу ошпарил себе ногу, что у сестры милосердия родился сын, отцом которого все предполагали рыботорговца Новицкого, что у батюшки скосорылило щеку от какого-то чёрного зуба. Рассказывал и беспокойно поглядывал на Соколова.

– Не скажешь, Филипп Сергеевич, кто из наших жителей, кроме толмача, знает самоедский язык? – спросил Соколов.

Урядник перебрал в памяти образованных людей Обдорска и нараспев ответил:

– Не-е знаю. Так калякать каждый горазд, а по-настоящему, пожалуй, никто. Вот покойный Тихарев, так тот как заправский самоед был. Я всегда дивился.

– А его жена не научилась ещё говорить по-ихнему?

– Не-ет, откуда ей!

– Сказывают, будто самоеды из тундры к ней ездят.

– Наверно, по старой памяти. Они и от Тихарева не выходили. Говорят, все из племени Ненянгов

ездили. Ваули теперь долго свою ссылку коротать придётся, – сказал урядник.

– Не думай, любезный Филипп Сергеевич, Ненянг дома. Вот и бумага получена, что он бежал из ссылки.

– Да ну? – удивился Шахов. – Вот варнак. И как это он?

– А вам не приходила мысль, зачем эти самоеды к жене Тихарева ездят?

– Что думать? Они и к вам зайти могут, если заночевать пустите. И ко мне придут.

– А что, Филипп Сергеевич, не говоришь, как мы нынче с ясаком?

– Да плохо. Ваули опять не велит. – И Шахов покраснел, разоблачив себя. – Знал я, что он убежал, – простонал он. – Ипполитко рассказывал, что он по тундре бунтарскую стрелу послал. Сказывал, что стрела вся в зарубках и железо по ней терто. Все роды по ней клятву дают.

– Какую ещё клятву?

– Так она же и послана для того, чтобы все роды в один соединились. Они на Обдорск пойдут.

– Думаешь ли ты, о чём говоришь?! – заорал заседатель. – Нас с тобой за это самих первыми на виселице вздёрнут!

– Испугался я, – бормотал Шахов. – Как услышал про Ваули – страх меня взял. Промолчать решил. Думаю, как-нибудь прокоротаем зиму, а за

лето авось что-нибудь придумаем. Я и на охоту сам ходил, и всех мещан упросил сдать пушнину, чтобы кое-как ясак собрать. Я, дурья моя башка, — бормотал Шахов, потирая колени ладонями, — слышал, что к этой Клавдии Петровне самоеды захаживают, а внимания не обратил. Кабы знал, всех бы перешерстил.

— Кабы мы знали, где упадём, так все соломку стлали, — ответил Соколов.

Глава 30

Время бежало стремительно. Буйно промелькнула весна. От разноцветья трав рябило в глазах, захватывало дух, дурманило голову от терпкого запаха багульника, полного тления мхов, цветенин морошки, клюквы, черники, голубики, низкорослого черемушника и ивняка. Всё враз как всполошилось, вздыбилось и отцвело.

Солнце всё больше жалось к горизонту. Побурел мох, трава на высоких кочках присохла, зашуршала от лёгкого ветра — шепталась, выгоняя из гнездовий уток и гусей, успевших вывести птенцов. Из оставленных, осиротевших гнёзд ветер выдувал перья и пух, кружил их в воздухе.

Утрами на травах блестела роса, ополаскивала листья, и скоро пошли дожди. Они падали на землю, неслышно теряясь во мхах. От обилия воды при поднялись кочки, распухли лишайники. Пер-

вые иanei таяли на солнцевосходе, но стоило дохнуть северному ветру, как тундра враз белела.

Посланные с бунтарской стрелой Тогомпадо и Хонзали не возвращались.

«Может, их убили богатые старшины? Может, их изловили и увезли в Обдорск» – всё чаще думал Ваули.

Но с первым снегом к стойбищу Ненянгов стали съезжаться упряжки из бедных родов. Прибывшие уверяли, что все они поставили зарубни на стреле, которую завозили к ним Тогомпадо и Хонзали, и что они согласны идти на Обдорск.

«Хорошие слова говорили людям Хонзали и Тогомпадо», – думал Ваули, со дня на день ожидая приезда друзей, которых, как передал старшина рода Худи, он встретил в верховьях Катыма.

Чем больше съезжалось людей к стойбищу Ненянгов, тем тревожнее было на душе у Ваули. Чаще представлял свою встречу с князем Тайшиным, старшинами, которые, конечно, давно знают о бунтарской стреле и постараются сделать всё, чтобы помешать ему.

Тученбала ходила притихшая, задумчивая, на слова Ваули отвечала не сразу, подолгу вглядывалась в его лицо, пытаясь понять, о чём он её спрашивал. Она всё делала машинально, по привычке, на ощупь. Как никто другой, Тученбала. боялась похода на Обдорск. Сама не зная почему, при одном

названии города она вздрагивала отыскивала взглядом Хондли и крепко прижимала его к себе, будто кто-то хотел его отнять. Ночами, когда встревоженные собаки урчали, Тученбала выскакивала из чума, обегала его вокруг и, убедившись, что всё спокойно, ложилась снова, но уснуть не могла. Ей вспоминался Хозовыко, его сытое лицо, хищный взгляд и большие руки с короткими пальцами.

– Разве на улице так холодно? – спрашивал Ваули, обнимая её.

Тученбала, молча прижимаясь к нему, шептала:

– Ваули, я пойду с тобой в Обдорск? Я хочу быть рядом с тобой.

– Все снимут чумы и пойдут в Обдорск, – успокаивал её Ваули.

– Я буду рядом с тобой. Я умею стрелять из лука. Я умею метать копье, – говорила Тученбала, не выпуская из рук пальцев Ваули. – Разве я смогу жить без тебя? Зачем мне ходить по земле, если рядом не будет тебя?

– Скоро приедут Тогомпадо и Хонзали, – сказал Ваули, не зная, какими словами успокоить Тученбалу.

Тогомпадо и Хонзали подъехали к родному стойбищу в канун сияния Полярной звезды. В их честь загремел бубен, закололи оленей. Нарту, на которой лежала бунтарская стрела, поставили возле чума Ваули. И каждый, проходя возле неё, низ-

ко кланялся. Обнимая друзей, Ваули видел, как осунулись их лица, как износилась в долгой дороге одежда, как истосковались они по своим сородичам.

– Много, шибко много родов живут плохо, – сказал Тогомпадо, присаживаясь к Ваули, – Я думал, что беда пришла только к Ненянгам, но нет. Мы были у берегов Пура и Таза, везде шибко бедно живут люди. Они все пойдут с тобой на Обдорск, Ваули. Они сняли свои чумы. Ты посмотри на стрелу. Она вся в зарубках, её держали в руках много старшин. – Тогомпадо подал обёрнутую в шкуру бунтарскую стрелу.

В чуме наступила тишина, даже Хондли, всё время бегавший возле очага, прижался к матери. Стрела была гладкой, как олений рог, каждая зарубка на ней тёрта железом.

В это время вбежал Ямо, стороживший чум Ваули с тех пор, как приехали Тогомпадо и Хонзали. Увидев на коленях Ваули стрелу, шёпотом сказал:

– В твой чум, Ваули, просится пастух старшины Хозовыко – Слев.

– Пусти его, – сказал Ваули, убирая стрелу.

Слев вошёл в низком поклоне. В руках он нёс мешок из оленьей шкуры. Долго развязывал узел и наконец положил к ногам Ваули священную рели-

квию рода Ненянгов – железный обруч с маленьким оленьим рогом посередине.

– Кто этому научил тебя? – спросил Ваули, держа Слева за руку.

– Не сердись, Ваули, – сказал пастух. – Шаман Ламби велел мне отдать это только тебе. Просил передать, а сам ушёл умирать в тундру. Теперь его глаза смотрят на тебя с неба.

Эта весть как ветер облетела все чумы. Одни видели в этом удачу, другие предвещали великую беду.

– Ты, Ваули, теперь должен носить этот наряд, – чуть слышно сказал Моттий Таск. – Это великое счастье. Когда Ламби увёз его, мне показалось, что он отнял у меня свет. – Моттий присел на колени, долго гладил священный рог. Быть может, в эти минуты он вспоминал несчастного Ламби, который в трудные минуты оказался слабее духом, чем остальные его братья.

Получив родовую реликвию, Ваули будто приобрёл силу. Ему вдруг показалось, что и бунтарская стрела в руках стала легче, и думы, которые он носил с собой, яснее. «Идти на Обдорск, идти на Обдорск», – стучало в висках, и, подчиняясь внутреннему зову, он назначил день дальнего похода.

Им стал день, когда на небе ярко заиграли всполохи. Они, как отблески запоздалых гроз, ос-

вешали горизонт и большими столбами спускались над тундрой.

Тученбала на корточках возле огня шептала молитвы, слала низкие поклоны всемогущественному Нумо, просила дать Ваули силы. Услышав шаги мужа, она вскочила, обняла его, торопливо ощупала лицо, провела худыми пальцами по жестким бровям, убрала со лба волосы и долго смотрела в глаза, впервые в жизни, не стесняясь Моттия Таска, целовала Ваули в обветренные губы.

– Зачем ты так сильно плачешь? – строго спросил Моттий Таск. – Жёны не так провожают мужей. Они боятся тревожить их сердца.

– Я боюсь, – ответила Тученбала, не отпуская Ваули из объятий,

– Не бойся, не бойся, – кричал ей маленький Хондли. – У меня тоже есть лук. Мне дедушка тоже сделал лук, посмотри!

– Вы, Тученбала, поедете на упряжке сразу после старшин. – сказал Ваули.

Он убрал с шеи её руки, коснулся губами горячего лба и вышел из чума.

– Снимайте чумы! – неслоь по округе.

Глава 31

Прошло три навигации, а купец Есаулков как в воду канул. Когда к берегам приставали суда торговцев Сосина, Новицкого, в домах обдорских ме-

щан не обходилось без пересудов. Одни говорили, что Есаулков понёс большие убытки, другие спорили, что он связался с уральскими горнопромышленниками и строит тракт через Уральский хребет, третьи хихикали, утверждая, что дорожка ему сюда заказана: жена, проведав про его симпатию к кому-то, воспретила показываться в Обдорске.

— Вот жёны-то что делают! — говорила заседательша. — Таких прибылей не бояться лишиться. Захотела и не отпустила мужа!

— Чего человек мелет! — раздражённо ответил Соколов. — Давным-давно овдовел Есаулков. И в Твери его нет.

— Не заговаривай зубы. Ты думаешь, у меня совсем голова не работает? Из года в год первым судном был. А тут нет как нет. Сердцем чую неладное.

— Ох и чешется у тебя язык! Да померла у него жена. Давно померла.

— Не носи околесицу. Не один ты вести получаешь! — совсем расхрабрилась Евдокия Павловна, положив руки на худые бедра. — Все про то говорят в Обдорске: и приказчица Матрёна Евлампиевна, и урядника жена Авдотья Карповна, и даже сама матушка диву даётся. А худосочная-то Тихарева каждый день на берег ходит. Всё кого-то ждёт. Стоит вечно в стороне, как привидение.

— Кто не ходит суда встречать?

– Хотя бы я!

– Про тебя какой разговор. Вот если бы на какие поминки или в лавку, тут тебя хлебом не корми,

– Что-о?! И ты её защищаешь! А она с этими смутьянами-самоедами заодно. Они к ней приезжают. У неё и ночуют.

– Дура! – крикнул Соколов, быстро вышел из-за стола и, хлопнув дверью, ушёл из дома.

Соколов говорил правду. Все эти годы купца Есаулкова не было в России. Положив часть капитала во Французский банк, он отправился в путешествие по Европе – успокоиться после скоропостижной смерти жены и вообще хотел забыться, затеряться в шумном круговороте жизни.

Но забыть и забыться, расстаться с Обью, с оленьими упряжками не так-то легко.

«Какая-то колдовская сила живёт в этом крае», – думал он, приближаясь к Обдорску.

С берега кричали, махали шапками. Вдруг кольнуло сердце: он узнал Клавдию Петровну. И, словно боясь, что судно может не пристать к берегу, замахал ей рукой, потом снял шляпу.

К великому изумлению урядника, заседателя, иерея, купец даже не ответил им на поклоны, а пробежал мимо. Он бежал напрямик, по сыпучему песку, к обрыву.

Все эти годы купец Есаулков испытывал чувство душевного бессилия. Он ловил себя на мысли, что вся его жизнь — пустое, и на что-то большое, как думал он сам, у него не хватило ни ума, ни духа. Тот поспешный отъезд из Обдорска был трусливым бегством от себя. Он искал ему оправдание хотя бы перед своей совестью, но не мог найти.

То, что Клавдия Петровна осталась в Обдорске, для Есаулкова не было неожиданностью. От торговцев, бывавших в этих краях, он знал, что жена поселенца так и живёт с Мироновной, даёт частные уроки, что здоровье её плохое.

Он писал ей несколько извинительных писем, но она не отвечала. Порой ему казалось: не будь на земле этой женщины, всё вокруг было бы простым, обыденным. Он не стал бы размышлять о жизни, думать о времени, которое, как лихорадка, потрясало вечные устои империи.

Восстание декабристов гулким эхом отозвалось в Европе: будоражило умы, заставляло восхищаться дерзновенной смелостью передового общества России. Он особенно ощущал это, живя вдалеке, и не без гордости думал, что отзвуком этого времени была судьба и этой хрупкой на вид женщины. «Откуда в ней столько силы?» — думал он.

Клавдия Петровна, неожиданно для себя, побежала навстречу, но, сделав несколько шагов, ос-

тановилась. На щеках её вспыхнул румянец, на глаза накатились слёзы, на миг потеряла из виду лицо купца.

— Господи! — воскликнул Андрей Прокопьевич. — Радость-то какая! — Он припал губами к её рукам.

На берегу все словно онемели.

— Бесстыдник! — крикнула заседательша, топнула ногой и заплакала. — Подумать только...

— Хватит тебе, — тихо сказал Соколов, в душе браня купца за неосмотрительность.

— Чего хватит?! Ты, поди, такой же бесстыжий! Поди, из дому вырвешься, тоже как пёс на привязи!

— Будет, Евдокия Павловна, будет! У нас у всех, когда седина в голову, тогда и бес в ребро, — пытался сгладить неприятный разговор иерей.

— А что, это и по вашим божьим законам прощается?

Одетая в тёплую бархатную душегрейку, стоячий воротник которой закрывал тощую шею, она походила на гагару. Ветер трепал подол широкой длинной юбки, швырял по сторонам соболью муфту, будто хотел сбросить её.

Урядник ни с того ни с сего заорал во всё горло на мужика, опрокинувшего телегу, иерей, приподняв подол рясы, пошёл к костру.

Завидев его, самоеды вскочили и побежали вдоль берега, боязливо оглядываясь по сторонам. Сконфуженный иерей вернулся.

– Докудахталась? Всех разогнала, – сказал Соколов, и по его тону Евдокия Павловна поняла, что он сейчас же пойдет в лавку.

На небе лежали хмурые тучи. Всё затянула бурая мгла. С реки, с болот тянуло сыростью.

Всполошённая неожиданным приездом хозяина, Прохоровна выбежала на широкое крыльцо, запричитала.

– Клава, что ты стоишь? Заходи хозяйкой в этот дом, – сказал Есаулков, распахивая разбухшую от влажного воздуха дверь избы.

Прохоровна отшатнулась. Расправив на миг сутулую спину, она смотрела на Клавдию Петровну, будто впервые увидела её.

– Сегодня же пойдем в церковь, пусть хоть камни с неба валятся, – услышала Прохоровна слова Андрея Прокопьевича, прижалась к стене и, цепляясь за неё руками, поползла, теряя в ногах силу, упала на колени перед образами.

«Неладное что-то с ним творится, господи, пособи. Неладное», – причитала Прохоровна.

У Клавдии Петровны всё перепуталось в голове. Нельзя сказать, что она не думала о Есаулкове. Оставшись одна, она часто перебирала в памяти всё пережитое и понимала, что встреча с Андреем

Прокопьевичем и его письма помогли ей ещё держаться в это тёмное для неё время. Но она боялась его богатства. «Был бы он победнее, всё было бы проще. Я могла бы... – В эти минуты перед глазами вставало сиротское детство, жалкие гроши, оставшиеся в наследство от умершего после войны 1812 года отца, на которые она смогла получить образование. Потом Николай Тихарев, его ссылка. – Боже мой! Лучше не вспоминать. Но разве можно жить без этой памяти? Разве возможно перечеркнуть всё, что было?» – Она открыла глаза и ровно только теперь увидела Есаулова.

– Меня всё время вызывает к себе урядник, спрашивает о самоедах. Наверное, слышали, что Ваули Ненянг бежал из ссылки. А теперь послал бунтарскую стрелу и всё время держит Обдорск в страхе.

Есаулов не всё понял из её слов. Но он помнил о своей поездке в Берёзово, как помнил эту сильную духом женщину, да ещё потому, что когда-то испытал неприятное чувство, связанное с Курочкиным и своим скорым отъездом.

– Ну его к чёрту, этого урядника, – сказал Андрей Прокопьевич. Пусть самоеды ездят к тебе хоть по одному, хоть целыми семьями. Это не его забота.

Он говорил, не вдумываясь в сказанное, опьянённый встречей.

– Прохоровна, как там наш иерей поживает? – спросил он, приоткрыв дверь в кухню.

– Слава богу, – дрожащим от бессилия голосом ответила та, прикладывая к голове тряпицу, смоченную в холодной воде.

Если честно признаться, то Прохоровна давным-давно диву давалась: «Что это он, такой ладный да богатый, нашёл хорошего в этой сухопарой?» Потом, видя тоску, смирилась с его интересом к Клавдии Петровне, подумав, что все они, мужики, на один покрой. Но она никогда не думала, что Андрей Прокопьевич заговорит о церкви.

– За что такое счастье привалило? – думала она. – За что? Кто она? Баба какого-то чахоточного поселенца. И вдруг к таким капиталам. Нет, тут дело нечистое. В полном здравии ни в жизнь никакой купец так не сделает. Присушила она его, и всё тут. Ведь никто же из мужиков к ней не льнёт, даже в сторону её не глядят, а этот с ума сошёл».

Венчались они неделю спустя.

Над Обдорском повисла ночь, моросил дождь. По дороге, хлюпая в грязи, ехала подвода. Несмазанное колесо, раскачиваясь в узкой колее, скрипело. Деревянная колокольня церкви с железным куполом и крестом бороздила низкое небо.

Купец осторожно вошёл по высоким ступеням на крыльцо, поддерживая под руку Клавдию Петровну.

Иерей был в церкви. Он стоял перед вызолоченным алтарем, в толстых пальцах держал серебряную лампадку с ажурными цепями и подвесками. В длинной ризе зелёного бархата, в широком набедренном поясе, с большим позолоченным и гравированным крестом на груди, с распущенными седыми волосами, он смахивал на святого, сошедшего с иконостаса.

Проходя мимо округлой кирпичной печи к правому клиросу, он увидел в дверях Андрея Прокопьевича. Иерей вздрогнул, отчего цепочка и подвески на лампаде зазвенели. Перед глазами иерея стояла встречала купца на берегу. «Конечно, я и сам не без греха, — мелькнуло в уме. — Помнится, тоже не упускал случая. Но не принародно! Господи, спаси и помилуй!» — перекрестился иерей, предчувствуя неладное, и второпях сбросил с себя ризу.

— Или богат стал, Максимыч? Или забыл меня? — спросил Андрей Прокопьевич.

— Что ты, Христос с тобой! — почёсывая толстым пальцем затылок, сказал иерей, вздыхая. — Кто же тебя забудет, кормильца?

— Тогда чего глаза прячешь? Говоришь сквозь зубы? Я к тебе по делу пришёл.

Иерей похолодел. Мелкие капельки пота выступили на толстом мясистом носе, борода, кажется, пошевелилась из стороны в сторону и снова легла на грудь.

– Обвенчаться мне надо, и сейчас же! – сказал купец, преградив проход иерею.

– В рассудке ли ты, Андрей Прокопьевич? При живой-то супруге? – побледнел иерей. – Не могу-с я такое позволить. Вот перед Христом-богом говорю: не могу-с.

– Ты думаешь ли, о чём говоришь? Моя супруга два года как скончалась. И я тебя не от нечего делать прошу. Хочу, чтобы Клавдия Петровна мне законной женой перед богом стала.

– Эта-а-а? – простонал иерей, кивнув в сторону Клавдии Петровны. – Да хорошо ли ты подумал, Андрей Прокопьевич?

– Делай своё дело исправно. И не бери чужие заботы на себя.

– Видно, на всё есть господня воля, – бормотал иерей, надевая на безымянный палец Клавдии Петровны обручальное кольцо. «И руки-то у неё какие крохотные да тоненькие», – думал он.

Глава 32

Разговор в Обдорске о венчании купца с Клавдией Петровной хватило до нового рождества. И только когда стали съезжаться на ярмарку торговые люди из Берёзова и Тобольска, с Урала и Печоры, из Архангельской губернии, привозя с собой всевозможные новости, страсти улеглись.

Бывалые торговцы, зная обычаи торга, пробирались в Обдорск по неторёным дорогам, по затёсам, лишь бы опередить друг друга. То с одной, то с другой стороны раздавался звон колокольчиков, и кони, буравя снег, въезжали в город. От вспотевших спин лошадей валил пар, хозяева, сбросив с плеч тяжёлые овчинные тулупы, шли сзади, время от времени стряхивая меховыми рукавицами иней с бороды и усов.

У многих домов стояли распряжённые подводы; и лошади, уткнув морды в плетёные короба, смачно жевали сено. Напуганные шумом ружейными выстрелами, лаяли собаки. Люди по улицам ходили торопливо, оглядывались настороженно.

Предприимчивые хозяйки умудрялась по три раза в сутки протапливать русские печи.

— Это тебе не халам-балам, а чистые денежки, — рассуждала расторопная приказчица с соседкой. — Вечно дивятся, откуда у нас деньги берутся. Думают, без утайки хозяйской тут не обходится. А уж скажу: в прошлагоды к ярмарке я сорок тысяч ковриг выпекла.

— Да ну?

— Вот и да ну! — ответила она бойко. — Как кому скажу, все от удивления глаза пялят. Вот и мне уж полон амбар напекла да наморозила. Одна забота — как мышей окаянных вытравить. Откуда-ва только и берутся? — Перекинув коромысло с

плеча па плечо, звеня ведрами, она пошла к проруби. — А купцы-то что делают? Смех и грех на них глядеть! — обернувшись, говорила она. — Толмачей на улице хватают, водкой поят да в тундру гонят, чтобы те самоедов на дороге останавливали да меха скупали.

Приказчица говорила правду.

Ипполитко в эти дни не знал покоя и был беспробудно пьян. Стоило показаться на улице, как его тут же подхватывали под руки и вели то к одному, то к другому купцу.

— Поезжай, голубчик, в тундру, в долгу не останусь! — говорил каждый.

А Ипполитко свое:

— Не волен я. У меня дело государственное. Я при самом князе толмачом состою. А он у нас как есть один по здешнему краю. — Поглаживая русую бороду и шатаясь, добавлял: — Хошь промеж именитых людей и идут всякие суды-пересуды, но даже сами самоеды не помнят, когда род Тайшиных ими верховодить стал!

— Да на што нам знать про твоего князя? — махали купцы руками.

А Ипполитко свое:

— Ещё матушка царица Екатерина слала на их имя грамоты, по которым они, Тайшины, были верховными и последними судьями тут. Сколько раз самоеды хотели убрать Тайшиных, да не тут-

то было. Выбирали они один раз себе князем Пайголу, да стоило ему помереть, а Тайшины снова тут как тут.

– Да пропади они пропадом, твои самоедские князья! – Кричал пермский купец Земцов и от нетерпения трепал толмача за плечи. – Разуй ты глазищи-то! Али не узнал меня? Али я в прошлом году тебя пообидел? Уговор у нас с тобой был. Или забыл?

Ипполитко смолк, заморгал глазами.

– Виноват, Ефим Никоныч. Не разглядел. Во всех избах темница, хозяева все на одно обличье, усы да бородачи, да и разговор у всех об одном, – говорил Ипполитко. – А мне, думаешь, охота великая в тундру ехать да как псу мёрзнуть? Уж честное моё слово, скажу тебе, Ефим Никоныч, хуже смерти надоел мне этот самоедский язык. И чёрт меня дёрнул научиться на нём говорить. Затаскали меня начисто. Никакой свободы нету! С этим князем, судороги бы его схватили, таскаюсь то к уряднику, то к заседателю, то в Берёзово езжу. Ведь в прошлый год совсем было собрался уехать отсюда, когда деньги от тебя получил, а ведь не смог. Не совладал с собой. Все как есть пропил, даже и не знаю когда. Так снова и остался. – Губы у Ипполитки дрогнули, и он часто зашмыгал носом. – А про вас я, Ефим Никоныч, не забыл. Просто не признал спьяну.

В это время к столу принесли пузатый медный самовар, наставили рыбные пироги, наливочные шаньги.

«Самоеды — они и есть самоеды, — подумал толмач, увидев полон стол кушанья. — Ничего не умеют, окромя сырого мяса».

От самовара шёл пар. Вкусный запах скоромного масла, жирная плёнка на молоке, вкрутую сваренные яйца унесли Ипполитку в далёкое детство, в деревню, где всё пахло молоком и душистым сеном.

В это время, приоткрыв дверь, какой-то хриплый голос спросил:

— Толмач самоедского князя у вас?

Ипполитко замахал руками, показывая купцу, чтобы тот соврал.

— Закрой дверь! Никого тут нет, — сердито крикнул хозяин.

— Где его искать? Исправник из Берёзово приехал, а его днём с огнём не сыщешь. Али дрыхнет где, али в тундру уехал, — говорил незнакомый казак, прикрывая дверь.

Ипполитко забеспокоился, нахлобучил шапку на глаза, встал из-за стола, не прикоснувшись к еде.

— А как же? С тобой у нас свои дела, а это дело казённое. Только ты, Ефим Никоныч, не сумлевайся, слово моё верное. Кому-кому, а тебе сослужу, ежели обещал.

– Ну и на том ладно. Без тебя у меня дело всё пропадёт.

К управе Ипполитко почему-то шёл с тревогой. Вспомнился день, когда в ней пороли казака Гриньку, на которого много жаловался мещанин Мурзин за тайную связь с его женой, потом вспомнился самоедский старшина Ваули в кандалах.

«Ну их всех к лешему», – гнал он от себя тяжёлые мысли, когда слышал позади окрик Тайшина. За ним еле поспевал приезжий казак. Поравнявшись с Ипполиткой, хотел было схватить за шиворот.

– Где тебя черти носят? – закричал он.

– Но-но! Потише! Чего ручищи-то распустил? Поди, я тебе не пёс какой! – гаркнул Ипполитко, отпрыгнув в сторону.

– Бога моли, исправник приехал, а то я бы вздул тебя за такую прыть.

– Накось, выкуси! – показал Ипполитко казаку посиневший кукиш, отчего у того перехватило дух.

Исправник Скорняков давно собирался побывать в Обдорске и приурочил свой приезд к ярмарке. Большой и грузный, прозябший в долгой дороге, он появился в управе как снег на голову, и, признав его, писарь Афоня смотрел, приоткрыв рот. На вопрос, где заседатель, ответил не сразу, но, спохватившись, выскочил на улицу и понёсся по снегу напрямик в казённую лавку.

Сидя за столом, исправник потирал руки, мял одеревеневшие от холода пальцы. Нехотя перебрал на столе бумаги, перекладывал нераспечатанные пакеты и громко сморкался в серый носовой платок.

«Давным-давно надо было приехать сюда да расправиться с этим пропойцей. Какой с него спрос? Ну, уволят. А ему что? Он, может, радым-радёшенек. А мне надо чином дорожить. Дочерей в люди вывести, — думал исправник, держа в руках государеву грамоту, в которой снова спрашивалось о задержке ясака в казну. В глазах его потемнела, когда он прочитал ответ Соколова. — Опять этот Ваули Пиеттомин? А я сном-духом ничего не знаю. Меня из-за этого не сегодня — завтра могут в Тобольск вытребовать».

От прочитанного исправник отяжелел. Стоячий воротник мундира врезался в покрывшуюся красными пятнами шею.

В дверях показалась голова писаря.

— Самоедский князь пришёл! — шёпотом сказал он.

— Вели зайти, — ответил исправник.

Тайшин вошёл в управу в низком поклоне. Это понравилось Скорнякову. Но всё ещё не в силах скрыть волнение, он строго спросил:

– Ты, самоедский князь, почему плохо судил Ваули? Он опять видать по всему, даёт вам жару, а вы молчите.

Князь поморщился.

– Не чувствуется у вас заботы и радения к делам государства. Ни одна волость так не задерживает ясак, как ваша. Вижу, гостей к вам наехало со всех волостей. Ясное дело за пушниной. Накупят, увезут, а ясак не собран.

Тайшин, наклонясь к рыжей бороде Ипполитки, слушал и топтался от нетерпения высказать исправнику свою обиду на заседателя.

– Переведи. Или дело своё забыл? – прикрикнул исправник на Ипполитку.

– Он говорит, что самоеды и остяки не будут нынче сдавать ясак. Об этом знает заседатель Соколов. Ваули не велит, пока русские не сделают хлеб наполовину дешевле, пока в бумагах не уберут долги стариков и умерших людей.

Исправник ошалело моргал глазами, и вместо кашля у него вырвался хрип.

– Я в прошлый раз просил в тундру казаков. Никто не давал. Теперь Ваули собрал много народу. Две зимы ходила по тундре бунтарская стрела, – переводил Ипполитко слова князя и видел, как медленно багровело лицо Скорнякова.

– Перестань, хватит! – крикнул исправник, не в силах далее слушать.

– Я говорил. Я казаков просил, – не унимался Тайшин, не слушая, что переводит ему Ипполитко.

В дверях появился председатель Соколов. Мундир нараспашку, лицо давно не брито, под глазами одутловатые мешки. Не здороваясь, подошёл к окну, усмехнулся:

– К самоедам в тундру казаков просит? – И вразвалку прошёлся по управе.

Афоня от страха зажмурил глаза.

– Ну и Ваули! Какой переполох устроил. Вот бы кого князем поставить, а не этого лопуха! – сказал председатель, ткнув пальцем в сторону Тайшина.

– Не дело вы говорите, Пётр Силантьевич, – сдерживая себя, сказал исправник.

– Как не дело? – возмутился, пошатываясь, Соколов. – Что с этим уродом сделаешь? Дурак будет Ваули, если ему первому башку не свернёт.

– Любезный, – остановил Соколова исправник, вставая из-за стола. – Идите-ка вы лучше домой.

– Нет, любезный Илья Матвеевич, – помахал председатель пальцем перед носом исправника. – Ничего и вам тут не сделать. Всё это кажется просто только на первый взгляд. А Ваули этот головой думает. За него вся тундра встала, кроме этих жалких прихвостней. Тут вам и носа совать не стоит! Собирайтесь-ка и уезжайте обратно подобиру-поздорову. Ваули днями в Обдорске будет.

Об этом вам князь не говорил? Боится. А Ваули ватагу нарт в четыреста собрал.

— Вы думаете, что говорите? — закричал исправник и стукнул кулаком по столу.

— А мне теперь что думать? Встречать самоедов будем, — цинично ответил заседатель и, махнув рукой, вышел из управы.

— Срочно нарочного в Берёзово. Вызвать казаков! — приказал исправник.

Когда лёгкая упряжка с нарочным была отправлена в Берёзово, Скорняков облегченно вздохнул.

— Надо к Ваули навстречу торговца посылать. Надо Ваули одного в Обдорск звать. Так Ваули всех стрелять будет. Он сильный. Шибко сильный! — говорил Тайшин.

— Говоришь, торговца в тундру посылать надо? — после долгого молчания спросил исправник. — А кого послать? Надо, чтобы он ваш язык знал.

— Николу Нечаевского, — перевёл Ипполитко и сам удивился находчивости князя.

— Николу, говоришь, Нечаевского? — переспросил исправник, вспоминая берёзовского мещанина, о котором все говорили, что он постоянно торгует с самоедами.

— А где его найти? Посылать в Берёзово ещё одного нарочного? А вдруг не поедет?

– Тут он. На ярмарку приехал. Я видел его, – сказал Тайшин, улыбаясь.

– Ну, спасибо тебе, князь, спасибо! – облегченно вздохнув, сказал исправник.

Афоня, встретившись взглядом с исправником, выскочил из-за стола и побежал на поиски мещанина Нечаевского.

Глава 33

Нечаевский шёл в управу с тревогой. Торговля в последние годы у него шла бойко, хотя делал он всё тайно и скрытно, но, как говорят, шила в мешке не утаишь, да и завистников у него было немало.

«Неужели Митрофанко кому сказал о двадцати сороках песцов, а? Если сказал – собакам стравлю!» – рассуждал он, входя в управу.

И каково же было его удивление, когда исправник встретил его на пороге.

– Заждался, заждался! – проговорил Скорняков. – Тут у нас тепло, раздевайтесь, Николай Иванович, разговор будет серьёзный, по душам.

– Чем заслужил такую милость, сам не знаю, – стараясь не смотреть исправнику в глаза, говорил мещанин, стаскивая с себя овчинный полушубок.

– Вот закрою я глаза, Николай Иванович, и вижу: идёшь ты, а, навстречу тебе наш государь-батюшка. Все вельможи да генералы в поклоне, а он – к тебе.

— Что вы говорите? — Нечаевский в недоумении смотрел на исправника, шевелил широкими ноздрями, стараясь уловить запах хмельного.

— А за ним, за нашим государем, слуги ленту золотую несут, а на ней медаль лежит, и он сам прикалывает её тебе!

— За что такие слова? — млея, говорил Нечаевский.

— Верно государю служишь, Николай Иванович, — продолжал исправник. — Вот такими, как ты, держава наша от всякой смуты оберегается.

Мещанин подошёл поближе к столу, присел на табуретку, пристально посмотрел на исправника и, пожимая плечами, изрёк:

— Про что это вы говорите, в толк не возьму. Жить живу как все, не хуже других и не лучше. На людях бывать не бываю, добрых дел, да и худых, не делаю — Мещанин говорил всё на полном серьёзе, понимая, что за его торговлю и ещё кое-какие дела надо от государя немилости ждать. Я ведь как понимаю жизнь-то: каждый человек должен почаще свои пёрышки чистить, а мы, чего греха таить, забываем. Соблазнов вокруг нас множество. Иной раз и отошёл бы от какого-нибудь дела подальше, а не можешь.

— Вот я про такое дело и говорю. Не стал бы его делать, махнул рукой, а нельзя. Это и есть ра-

дение. Вот я и хочу просить тебя в тундру, на встречу смутьяну Ваули, поехать.

Нечаевский вскочил:

— В мой-то годы?! Да к этому смутьяну?! Наслышан я про его дела, рассказывали самоеды, сколько чумов собрала его бунтарская стрела да как все они вооружены да обозлены на нас. У них ведь какое об нас понятие? Все мы как есть грабители. И всё семя наше такое же. Не-ет, не могу!

Услышав это, исправник откинулся на спинку стула и с минуту не мог говорить. Потом, пересилив себя, заговорщицки сказал:

— А ведь дело-то какое великое! Дело-то какое нашему отечеству нужное! — говоря, он отделял каждое слово, отчаявшись в своей затее.

— Нет-нет, — мотал головой Нечаевский, искоса поглядывая на исправника.

— А я-то думал: такое мы дело сделаем! Заманым разбойника в Обдорск, а там уж не твоё дело, только медаль твоя от государя будет.

Нечаевский нахмурился. На узком лбу сбежались морщины, левый глаз совсем закатился под верхнее веко, потрескавшиеся от мороза губы пересохли, он то и дело облизывал их.

— А что, Илья Матвеевич, при всём честном народе медаль обещать будешь? Не обманешь?

— Да как можно слова не сдержать? Как можно!.. Вот только не хочу, чтобы про наш разговор

народ знал. Дело это тайное, а если узнают все, зачем Нечаевский в тундру поехал... — исправник недоговорил, чувствуя, что мещанин, прикинув всё в уме, принял решение поехать, но набивал себе цену.

— Страшновато. Ваули крутого нрава.

— Да уж кто говорит, что пустяшное это дело? Это, пожалуй, одно из великих в нашем крае, если посмотреть со стороны государства.

— Тогда, Илья Матвеевич, хоть при самоедском князе мне медаль обещаю. Он-то не сболтнёт, — сказал Нечаевский. — Про то ему самому как рыбе молчать надо. Ох и загадку вы мне загадали. Даже кожа вся дрожит. Ваули не медведь, его капканом не поймашь.

— Верю, верю, — говорил Скорняков, помогая Нечаевскому надеть полушубок. — Только постарайся заманить его в Обдорск. Скажи, что старых грехов его никто не помнит. Все его почитают. Ярмарка нынче будет богатой, торговцев приехало много, товара привезли полно.

— Ой, Илья Матвеевич, Ваули не простой самоед, — обернувшись на пороге, сказал мещанин. — Года через два никто окромя его не будет в этом крае хозяином. Мне и с ним жить неплохо будет. Только из-за медали еду, — признался Нечаевский — Уж постараюсь, если медаль.

Когда все вышли из управы, исправник облегченно вздохнул, поморщился, ощутив покалывание в сердце, но, подумав, что об отъезде Нечаевского надо срочно сообщить в Тобольск, крикнул:

– Есть тут кто-нибудь?

– А как же? Я тут, Илья Матвеевич, – ответил писарь.

– Садись-ка и пиши ещё одну бумагу, – сказал исправник спокойно, и, ободрённый его хорошим настроением, Афоня вмиг очутился за столом.

Глава 34

Прикорнув на оленьей шкуре у порога, Ипполитко долго не мог уснуть. Он свернулся калачиком, поджал ноги до самого подбородка, спрятал ладони промеж колен, но всё равно знобило так, что зуб на зуб не попадал.

– Экова зелья опять нажрался... – бормотал он и, нащупав ногой собачонку, подвинулся к ней поближе, пряча ей под бок холодные ноги.

«Хоть бы к утру всё прошло, а то перед Ефимом Никонычем стыдно, обещал – а сам глаз не кажу. Как-то этого князя обмануть надо, – Ипполитко заворочался, собака под ногами заурчала. – Проклятушая жизнь, – простонал толмач, – никакой свободы нет человеку. Собаке и то лучше. Вон Ваули. Плетьюми лупили его, в ссылку гоняли, а он жив себе, здоров, да ещё этакую бучу заварил!

Всех, как есть всех в страх ввёл. Вот это самоед так самоед. Ежли б и мне Ваули сказал, чтобы я шёл в его ватагу, глазом бы не моргнул, пошёл. Вот поеду в тундру, встречу там самоедов и скажу, чтобы они берегли Ваули».

Ипполитко открыл глаза, опасливо перекрестил лоб.

К утру в юрте князя стало совсем холодно. Тайшин заворочался под тёплыми шкурами, а старшина Неруй, приехавший на ярмарку, не смог перенести холода – пошёл за дровами. Ипполитко, согнувшись, вышел за ним.

Морозный туман повис над городом. «Экая стужа стоит», – поёжился Ипполитко. Собака, выбежавшая за ним, заскулила, заскребла лапой дверь.

– Слышь-ка, Неруй, – сказал толмач, – как проснётся князь, скажи: Ипполитко в церковь ушёл и не придёт долго. Скажи: грехов у него много.

Неруй кивнул головой.

Купец Ефим Никоныч готовился к торгу, раскладывал на подводах круги мороженого коровьего масла, парафиновые свечи, куски разноцветного сатина и сукна, красивые коробки с разными сортами самосада, плиточный чай. Всё это в первый день инородцы меняют, не торгуясь.

– Ну, слава богу! – воскликнул купец, увидев Ипполитку. – На тебя вся надежда. В обиде не оставляю. Даю тебе честное купеческое слово.

– В тот год ты мне сразу задаток давал, – сказал толмач.

– Я и теперь дам. – Купец полез в карман, долго мусолил в пальцах каждую бумажку. – На, не теряй. Деньги тебе даю немалые. На них можно корову купить, а вот ты за одну-две ночи враз чистенькие получаешь.

– В голову взять не могу: какой тогда вам резон в этой дороге – маету принимать?

– Я знаю, ты, Ипполитко, мужик смышлёный. Товару тебе дам много. Не подведи.

– К чему такие разговоры? – обиделся Ипполитко, отхлебывая большими глотками воду из ковша.

– Разузнал я за эти дни цены. Всё остается как в прошлом году. Главная цена – песцу. Он стоит 70 копеек, а лапки и хвосты – от трех до пяти копеек. Тут я подсчитал.

– Обожди, Ефим Никоныч, нынче торг не такой.

– Как?

– Не знаю, какие тебе мужики говорили, а я доподлинно знаю, что в открытую нынче пушнинной торговать не будут. Ясак в казну не сдан, а сдавать Ваули не велел.

– Какой еще Ваули? – рассердился купец.

– Самоед такой. Его вся тундра знает. Он не первый год не велит по таким ценам ясак сдавать. Если кто и будет нынче торговать, только в два раза дороже прошлогоднего. Так Ваули наказывал.

– Брось ты! – махнул купец рукой. – Этакие ещё нашлись самоеды. Ещё они цену устанавливать станут!

– Так пушнина-то ихняя. По тундре-то они ходят, – не унимался толмач.

– Ты что? Разорить меня хочешь? Без штанов оставить?

– Помилуй, Ефим Никоныч, – взмолился Ипполитко, радуясь в душе, что купец разозлился, забежал от мешка к мешку, не зная, что взять в руки.

– При чём тут я? Мне всё одно. Вот ваши денежки. Возьмите. А только я точно говорю: пушнины в нынешнем году не будет. Уж если они государю-батюшке ясак не платят по такой цене, то купцам и подавно продавать не станут.

Купец замолчал, прищурившись, вспоминал какие-то разговоры о смутьяне-самоеде.

– Дела-а, – протянул он, царапая ногтями шею под бородой. – И что же это тогда получается? Ваули этот меня в два раза ограбил?

– А коли с другой стороны посмотреть, так сколько лет самоедов грабят, – ответил Ипполитко.

– Да замолчи ты! То цена государева! – закричал Ефим Никоныч. – Да с него шкуру содрать надо. Ишь!

– Давно собираются.

– Перестань ты зубы скалить. Давай собирайся и поезжай в тундру.

– Нет, Ефим Никоныч, по старым ценам торговать не буду. Ты же первым начнешь считать меня вором. А на что мне такая слава? Хватит одной – пьяница бездомный. А чтобы ещё вором звали – не хочу!

Ипполитко пошарил за пазухой и выложил деньги на стол.

– Это же разор! – не выдержал купец. – Средь бела дня грабёж. Что же делать? Чистый разор. Голова кругом идёт. – Он бегал по кухне, обхватив голову руками, запинаясь о половики, и изредка посматривал на Ипполитку, который, разомлев в тепле, приклонился к стене и дремал, не слушая купца. – Ну чего ты молчишь? Чего дрыхнешь на ходу? – тряся толмача за плечо, кричал купец.

– Чего я могу ответить? Нечем мне успокоить вашу душу. Вы ведь тоже хозяин своему товару.

– Ладно, торгуй вдвадорога. А может, кого сюда, ко мне, уговоришь приехать. Но смотри, Ипполитко, если обманешь, сам к уряднику пойдёшь. Не одобровать тебе, – грозно сказал Ефим Никоныч.

Толмач молчал.

Когда упряжка стала выезжать из ограды, Ипполитко наклонился и сказал купцу на ухо:

– Искать станут, скажите – в церковь пошёл, грехи замаливать.

Ночь застала толмача на берегу безымянной речки, на самом перекрёстке самоедских дорог. По ним ездили кружным путём, когда хотели миновать Обдорск. Стояла морозная тишина. По высоким сугробам мела позёмка, но около кустов виднелись глубокие заячьи следы. Он остановил оленей, они сразу начали бить копытами снег, доставать мох, а олениха, шумно хоркая, опустилась на колени, улеглась в снег. Ипполитко протоптал снег, прилёг к оленихе, прижавшись к её боку, скоро задремал.

Его разбудил монотонный звон колокольчиков. Толмач привстал, сдёрнул с головы треух, вскочил на нарту и стал оглядываться по сторонам. По освещённой лунной равнине бежали олени упряжки. Издали они казались крохотными точками. Ипполитко растолкал оленей и помчал навстречу упряжкам.

– Пушнину везёшь? – закричал он.

– Мало-мало везу.

– Песец есть? Белка есть?

– Мало-мало есть. О, это сидишь ты, Ипполитко? Ты тоже ловишь упряжки? – закричал ему старик охотник Ахазал.

– Я, я, – отозвался толмач.

Лицо самоеда, покрытое инеем, походило на берестяную маску. Заледенелый куржак обвинил обручем волосы, и только в глазах теплилась жизнь.

– Кому пушнину кричишь? – спросил каюр

– Русскому купцу Ефиму Никонычу, – ответил Ипполитко.

– Мало шкур. Совсем мало, – вставая с нарт, заговорил старик. – Оленей мало. Собак нет.

– Так я куплю у тебя, как Ваули велел торговать, – живо сказал толмач.

Как магическое слово спустилось к каюру с мрачного неба. Он вскочил, отбросил с нарты оленью шкуру, достал мешок и тут же стал доставать белок, связанных в пачки по сорок штук.

– Тут восемь сороков, – сказал он. – Песца утром смотреть будешь. Может, шкура плохая у песца. Я рано промышлял.

Ахазал достал мороженного мяса, они стали есть строганину. И хотя Ипполитко был рад удачному торгу, но на душе у него было тревожно.

– Ипполитко, ты зачем не ложишься спать? – расталкивая оленей, спросил старик. – Ты зачем не хочешь смотреть утром песцов? Может, твой купец сердиться будет?

– Я знаю плохие вести, – сказал толмач. – И тебе некогда лежать в снегу. Поезжай к Ваули,

скажи: к нему поехал плохой мужик-торговец. Надо, чтобы он не пускал его в свой чум.

Самоед вскрикнул, и не успел Ипполитко договорить, как он повалил толмача в снег.

– Ты сдурел! – со страхом закричал Ипполитко, отдирая от горла холодные руки Ахазала, жадно хватая ртом воздух.

– Зачем худые вести говоришь? Когда поехал к Ваули мужик?

– Вчера, – сказал Ипполитко, вставая. – Купец Нечаевский это.

Но старик уже не слышал его. Оглашая криком тундру, он погонял оленей, яростно размахивая хореом.

– Пушнину-то оставил, сумасшедший! – крикнул толмач, ощупывая опухшее горло.

Глава 35

Перед выездом в тундру Нечаевский долго молился в маленькой горенке, увешанной с потолка до пола иконами. «Ничего, – успокаивал он себя. – Долго в тундре не буду. Может, и удастся заманить Ваули в Обдорск. Убить они его всё равно не убьют, а если ещё раз в ссылку сошлют, так он и оттуда убежит, а мне как-никак медаль будет».

Из Обдорска выехал ранним утром. Над городом висело, как серая меховая шкура, морозное небо. Струйки чёрного дыма вонзались в него за-

копчёнными стрелами. Кто-то на реке долбил прорубь, звон льда разносился далеко по берегам. Нечаевский дремал. навстречу бежали белые сугробы, а к вечеру то в одной, то в другой стороне он слышал звон колокольчиков. Остановил упряжку, оттопырил пальцем башлык, приставил ладонь к уху – слушал. «И с Каменной стороны, видать, самоеды едут к Ваули. А куда ещё? В другое время они мчались бы Обдорск на ярмарку, а теперь колесят по тундре. А что, если правда Ваули захочет ограбить Обдорск? Старшинам тогда не сдобровать, а князя Тайшина он сразу заставит снег лизать. Это уж точно».

Мещанин остановил упряжку, перевязал олень; пятнистого коренника увёл назад, на его место поставил молодого быка, с длинной белой бородой и серым круглым пятном на крутой шее. Ему однажды сказали, что такой пятнистый олень приносит удачу. «Может, и правду говорили. Может, он принесёт мне спокойствие и удачу», – думал Нечаевский, поглаживая морду быка. Ощущая заледенелые ноздри, ощутил на ладонях тёплое дыхание.

Прижавшись к оленю, мещанин почувствовал тепло и не хотел садиться на нарту. «Да что это я раскис? Не впервой куролесю по снегам. Вон и звезда впереди меня как ярко светит: значит, пра-

вильно я свой курс держу», – уговаривал он себя, ёжился, усаживаясь на нарту.

Только на пятый день, продрогший, окутанный инеем, проклиная в душе всё на свете, Нечаевский услышал гиканье пастухов и лай собак. У него замерло сердце, и он размашисто перекрестился. Большое стадо бежало ему навстречу. «Как бы не затоптали ещё», – подумал мещанин и стал громко кричать на оленей.

Со стороны, наперерез стаду, мчалась упряжка. Стоя на нарте, самоед горланил:

– Эк-кей! Эк-кей!

Свора маленьких, с кудрявыми хвостами собак лаяла, прыгала на задних лапах перед разгорячёнными коренниками. Олени сбавляли бег, задрав морды, фыркали, толкали друг друга боками.

– Куда мужик едет? – спросил самоед, стряхивая снег с длинного гуся.

– В чум к Ваули Пиеттомину! – бодро ответил Нечаевский. – Товар ему везу.

Самоед вскочил с нарты, подвёл упряжку к мещанину.

– Будто не знаешь, что Ваули сам идёт в Обдорск?

– Мало ли что говорят, а мы с Ваули давние друзья.

– Говори: какое у тебя к нему дело? – сердито спросил самоед с рассечённой щекой, останавливая упряжку Нечаевского.

– Мне самого Ваули увидеть надо, – настаивал он.

– Давай сюда ножик. Давай сюда ружьё.

– Я не охотник. Я – торговец, – забормотал мещанин.

– Все торговцы на ярмарку едут. В Обдорск едут, а ты в тундру зачем пошёл?

«Неужто столько людей в тундре живёт? Ну, прощай, Обдорск! Вот тебе и самоеды. Вот тебе и вымирающее ясажное племя!» – думал мещанин, проезжая мимо наскоро поставленных чумов.

Люди в незавидных малицах, в потёртых кисах, казалось, куда-то торопились, делали всё быстро, разговаривали громко. Пробегая мимо упряжки русского торговца, никто не останавливался. «Вот как времена меняются, – подумал Нечаевский. – И откуда только чего и взялось. Страхах!»

Упряжка его долго простояла возле белого чума. Всё тот же самоед нехотя сказал мещанину:

– Иди!

В чуме у огня сидел Ваули. Скрестив перед собой ноги в высоких белых кисах, он рассматривал разукрашенный бубен. Языки пламени осве-

щали его сподвижников, которые сразу обернулись в сторону вошедшего человека.

— Много ты, Ваули, собрал народу. А я и не думал, что в тундре столько людей. Все по одному да по двое ездите на торг, — говорил мещанин переступая с ноги на ногу, не решаясь снять с себя промёрзший савик, который давил своей тяжестью.

— Зачем приехал ко мне русский? — спросил Ваули, не повернув головы в сторону мещанина. — Скоро ярмарка, ты товар в тундру везёшь.

— Разве ты не узнал меня, Ваули? Зачем так говоришь? Я плохого тебе ничего не делал и отцу твоему тоже. Он всё время торговал со мной, — говорил Нечаевский. — Я вот и теперь твоим охотникам ружья привёз. Я сейчас принесу, — сказал Нечаевский и вышел из чума.

В чуме стало тихо. Слышно было, как Хонзали стучал по дощечке ножом, соскабливая медвежий зуб, сыпал белый порошок за распухшую щеку.

— Хорошее ружьё, — сказал Ваули, приняв его из рук Нечаевского.

— Хороше-е-е, — в один голос протянули все, кто сидел у огня.

— Спасибо, Никола, друг, спасибо.

Нечаевский облегчённо вздохнул, не дожидаясь приглашения, подошёл к костру и стал греть руки.

— Только пороха не привёз. Приедешь в Обдорск — сколько хочешь дам.

– Что обо мне говорят в Обдорске? – спросил Ваули.

– Что говорят? Ничего не говорят. Я ведь в Обдорске человек чужой, многого не знаю, только слышал, что князь на тебя большую обиду держит, вором при всех величает.

– А не собирается ли он вести русских в тундру?

– Мы, торговцы, про такие дела не знаем. Ты бы лучше сам в Обдорск поспешил. Сейчас Обдорск богатый. Поедешь туда – все меха твои.

– Меха и так мои, – ответил Ваули и встал.

Почувствовав, что его слова понравились предводителю, мещанин бойко заговорил:

– Поедешь – князя скорее прогонишь, а если промедлишь да про твой отряд узнают торговцы – в один час в Берёзово упруют. Кому своего богатства не жаль?

– Не слушай его, Ваули! Отдай ему ружьё и пусть едет обратно, – тихо сказал Моттий Таск.

– Что ты, Моттий? Или ты не признал меня? Не я ли торговал с вами, вспомнил? Видишь, и имя твоё не забыл.

– Не вовремя ты приехал, – не глядя на Нечаяевского, ответил старик.

– Да я от души. Чистую правду сказал. Я и промолчать мог.

– Надо позвать шамана и узнать, правду ли он говорит! – сказал Тогомпадо. – Говорит моё сердце: плохой это человек.

Нечаевский вздрогнул, раскосые его глаза забегали из стороны в сторону.

– Дай, господи, силу и духа, дай, господи, ума-разума, – зашептал мещанин.

– Позови, Ваули, шамана Каменных самоедов! – закричали все, сидевшие в чуме.

– Разве я тебе худого желаю, Ваули? – встав на колени, взмолился Нечаевский. – Сколько лет я знаю ваш род. Птица знала, и та забыла. А когда тебя искали русские – я ведь знал, в каком чуме ты был с Мигри, а словом не обмолвился и теперь тебе добра желаю. Вот поедем вместе со мной в Обдорск.

– Не слушай его, Ваули! – крикнул Ямо. – Не верь ему. Плохие глаза у этого человека. Они всё время в сторону смотрят.

– Да я отрадюсь такой косоглазый. Меня даже так в деревне дразнили, а Маняшка только из-за этого за меня в жёны не пошла – всему виной моя раскосость. В отца удался я.

– Ваули один в Обдорск не поедет, – сказал Тогомпадо, готовый выбросить из чума словоохотливого мещанина.

– Зови сюда мудрого Хозгана, – сказал Ваули. – Пусть он посмотрит на него и скажет правду.

«Умру тут. Погибну тут! – мелькнула у Нечаевского мысль. – Есть среди них настоящие колдуны – это уж точно. На кой чёрт согласился поехать? На кой чёрт мне эта медаль сдалась?»

В чум вошёл с бубном и колотушкой низенький дряхлый старичишка, облачённый в цветастый балахон. Широкий железный обруч на голове перетягивал седые жидкие космы.

Шаман бесцеремонно подошёл к огню, отвесил поклон Ваули, сел на корточки против Нечаевского. Маленькие, глубоко посаженные глаза долго смотрели на огонь, потом на мещанина. Подойдя к Ваули, шаман стал что-то шептать ему на ухо. У Нечаевского ослабли руки и ноги, помутнело в глазах.

– Колите оленя из его упряжки. Он за длинную дорогу успел узнать мысли своего хозяина, – сказал Ваули. – Мудрый Хозган не хочет говорить слова, он хочет проверить свои мысли на шкуре оленя.

Скоро чистая шкура с заколотого оленя была прикреплена к длинному шесту и повешена недалеко от чума. Народ бежал к месту ворожбы со всех сторон. Шаман взял в руки лук и стрелу, отсчитал пять десятков шагов в сторону от шкуры, закружился на одном месте, как привязанный к нарте олень. Потом все услышали его громкий, пронзительный вопль. Натянув тетиву, закрыв

глаза, шаман выстрелил. Стрела, описав полукруг, попала в цель. Все смотрели на шамана, который, поправив на голове обруч, проваливаясь в снег, пошёл к шкуре оленя. С силой выдернул стрелу, и все увидели на ней круглое кровавое пятно.

– Кровь, кровь! – закричал шаман.

– Не ходи, Ваули! Не верь ему! Он обманывает тебя! – закричал Тогомпадо.

Нечаевский съёжился. Он был ошеломлён всем, что происходило вокруг. Ему показалось, что от страха на голове зашевелились волосы. «Ещё одно слово шамана – и они, как оленёнка, прирежут меня», – подумал Нечаевский и в ответ закричал:

– Что вы! Кровь – это хорошо! Это значит – я другом приехал к вам. У нас, русских, если кровь увидишь во сне – знай: родной человек явится!

Но никто не слушал его.

От оленьей шкуры шаман шёл, пошатываясь. Его седая потная голова покрылась инеем, взгляд был затуманен и смотрел куда-то вдаль.

– Не слушай его, Ваули! – Шаман отошёл в сторону и закричал звериными голосами, начал делать порывистые движения руками и головой, потом выхватил из-за пояса нож, с силой ударил себя в живот. На губах старика показались клубки пены. Нож выпал из рук. Толпа замерла.

Ваули первым подошёл к колдуну, посмотрел на его лицо. Нечаевский на какой-то миг почувствовал облегчение, но к великому его удивлению, шаман пошевелился и встал на ноги целым и невредимым.

– Не слушай, Ваули, этого мужика, – снова сказал шаман и пошёл в сторону толпы.

Ваули молча вернулся в чум.

«Нет, – думал он в эти минуты. – Я обещал моему народу идти на Обдорск. Я обещал им заставить купцов продавать товары по нашим ценам. Я обещал накормить их, забрать стада у богатых старшин и отдать их бедным. Я не могу не идти на Обдорск».

Вокруг стоял невообразимый шум и крик.

Ваули вышел из чума. Пора было идти на Обдорск.

К нарте подбежала загнанная упряжка Ахазала.

– Ваули! Где Ваули? – кричал старик, не в силах встать с нарт. – Скажите Ваули: к нему приехал не человек, а волк. У него худые мысли. Гоните его! Его послал в тундру исправник.

– Он врёт! Он врёт! – закричал Нечаевский. – Его кто-то подговорил, чтобы вы убили меня. Я чистую правду говорю. Я могу дать клятву. – Губы Нечаевского дрожали, по щекам ползли слёзы, и он слизывал их языком.

– Старая собака понапрасну не лает, – сказал Ахазал. – Старому человеку говорить неправду – грех. Ты, Ваули, можешь заколоть меня ножом, как старого загнанного зверя. Я говорю тебе правду.

– Уходи, Никола, с глаз! – сжав кулаки, крикнул Ваули. – Уходи.

– Скажи, Ваули, слово, и я протащу его по тундре, привязав ногами к нарте, – просил Тогомпадо, подходя к Нечаевскому.

– Останови их! Неужели ты забыл всё доброе? – в истерике царапал руками сыпучий снег мещанин.

– Уходи, Никола, – снова сказал Ваули, не глядя в его сторону.

Тогомпадо схватил мещанина за шиворот, отбросил в снег. Барахтаясь, путаясь в длиннополом гусе, Нечаевский в душе проклинал ту минуту, когда согласился поехать в тундру. «На кой чёрт сдалась мне эта медаль?» – ругал он себя, поднимаясь с земли.

Глава 36

Ярмарка началась стихийно. Пока торгоши смекали да прикидывали, к какой дороге ближе разложить товары, крикливый приказчик Илларион успел открыть казённый кабак. Мужики валом повалили к окраине города. Скоро в кабаке стало тесно и душно. Единственное окно, затянутое

куржаком еле-еле пропускало свет. Стоящая на верхней полке свеча оплыла, её жёлтое пламя дрожало и подпрыгивало от каждого удара дверей. Илларион отталкивал от прилавка людей.

– Ну, буде, буде! Слава богу, её, сивухи-то всем хватит! – Наливая пахучее зелье, он боялся выплеснуть даже капельку. – Экие все прыткие, – бормотал Илларион, но старый прилавок начинал трещать, и приказчик отыскивал в толпе взглядом Захарку. – Эй, Захарка, – кричал он. – Гляди, эдак всё выстудят, а день только зачался.

– Твоё вышибало уже рыло замарало. Вон он, готовенький, растянулся. Не хнычь, Илларион, надышим! – весело говорил Ипполитко, – потирая озябшие руки, сгорая от желания выпить сивухи.

– Что-то я тебя не признал, Ипполитко, – ответил приказчик, увидев толмача.

– Богатым буду. Ярмарка только начинается.

– Однако ты в тундру ездил? – кричал через головы Илларион. – Тебя тут с ног сбились, ищут!

Мужики закричали, угрожая выбросить Иллариона из-за прилавка, но в это время, то ли с умыслом, то ли взаправду, кто-то крикнул:

– Самоеды едут!

Этот крик был как гром среди зимы. Все враз бросились из кабака,

В дверях началась нещадная давка.

— Ошалели! Кишки выдавите! — доносился с пола чей-то крик.

Торговые люди бежали к товарам, и только Ипполитко спокойно сидел в кабаке.

— Чего сидишь? Или заработать не хочешь? — сквозь зубы спросил приказчик, зная, что никто лучше княжеского толмача не умеет сзывать охотников.

— А у меня при виде денег глаза болят.

— Слушай, а это правда, что сюда самоед Ваули со своей ватагой идёт? — спросил Илларион, подливая толмачу сивухи.

— Почём мне знать?

— Как не знать? Ты же толмачом у самого князя!

— А ты как-никак свояк заседателю.

— Ну ты и заноза, — сказал приказчик раздражённо. — Ну, погоди, доберутся до тебя, вонь-то вытрясут.

— О себе больше думай! — ответил Ипполитко и вышел из кабака, обругав худыми словами приказчика.

С приближением оленьей упряжки из тундры торговцы словно взбесились: вскакивали на сани, кошёвки, лезли на спины лошадей, кричали, свистели, махали руками, звали к себе самоедов.

На разукрашенной упряжке ехал ватажный старшина Каменной Тэб Окатэтто.

– Бери железные капканы! Черен к ножу, вылитый из меди! Чайник! Колокольца! – кричали нанятые толмачи.

– Меняй белку! Ягушку! Песца! Соболя! – просили другие.

Тэб Окатэтто, молчаливый, всю жизнь промышлявший со своим родом в северной части Ямала, всякий год исправно платил ясак. В этом году, когда многие охотники не приехали к нему, веря разным слухам, он сам внёс часть меха за своих сородичей и поехал в Обдорск.

Увидев оголтелых торговцев, слез с упряжки, с опаской повёл её мимо торгового ряда.

– Эй, Окатэтто, ты не боишься, что тебе Ваули за сдачу ясака бока намнёт? – крикнул кто-то над его ухом. Старшина обернулся, но вокруг незнакомые лица, и он, вскочив на нарту, погнал упряжку в город.

Услышав звон колокольцев, исправник Скорняков подскочил к окну. Несколько дней он с нетерпением ждал Нечаевского, который, по подсчётам Тайшина, должен был вернуться из тундры. Афоня выскочил на крыльцо, замахал шапкой, но, когда увидел, что и Тэб Окатэтто промчался мимо, подумал: «Неужто и этот взбесился?» – долго стоял за дверью, боясь показаться на глаза исправнику.

– Этот самоед не от Ваули, – пробормотал писарь. – Он хотел положить ясак, да испугался.

– Что ты бормочешь? – спросил исправник.

– Я слышал, как самоеды на ярмарке не велели ему сдавать ясак.

– Кто не велел?

– Не знаю. У меня всегда так: как страшный разговор услышу, в голове всё зашумит, и я всё перепутаю, – говорил писарь.

Исправник не знал, как выразить своё негодование, морщился, не находя для писаря подходящего слова.

– Размазня! – выкрикнул наконец так, что Афоня присел возле стола, промямлив:

– Правое дело, размазня я, да и только. Нету мне никакого больше имени. Размазня.

За последние дни исправник похудел: под глазами появились синеватые мешки, кожа на лице посерела, исчез постоянный румянец на щеках. К вечеру начинало ломить в висках.

«Только бы ясак собрать, а остальное для меня трын-трава, – думал он. – Пусть этот Ваули живёт сколько надо и шерстит их, я и пальцем не пошевелю. Есть тут самоедская управа, пусть она сама с ним разбирается»

В управу неожиданно ввалился самоед в нарядной малице. Он поклонился, пошарил за пазухой, достал из лоскутка исписанный лист бумаги, протянул Скорнякову.

– «Самоед Тусида увёл у старшины Тетта имущества на 392 рубля», – прочитал исправник, потирая ладонью глаза. Взглянув на хозяина бумаги. Чёрные бойкие глаза старшины Тетта сверкали.

– Он обидчика своего привёз, – проронил Афоня. – Вон он там, на нарте привязанный лежит.

– Передай, пусть с этой бумагой к своему князю едет, тот разберётся по всем правилам.

– Так князю не прочитать, что там написано, – сказал писарь, но исправник не слушал его, навалился на спину стула, закрыв глаза. Он слышал, как громко кричал на улице старшина, как с нарты донёсся пронзительный вопль.

«У, проклятуший край! Чёрт тут их поймёт. Разве можно подумать, что у этого мужичишки такое богатство? А сколько у него оленей? Нет, если уж владеть по-настоящему этим краем, то ставить сюда надо настоящих полицейских служителей».

А ярмарка началась. Видавшие виды торговцы, расторопные приказчики на подводах, на разостланных суконных одеялах, на шубах и просто на снегу разложили товары. Дотошные торгаши шныряли от одного ряда к другому, присматривались, приценивались, приторговывались. От холода безудержно топтали снег, хлопали рукавицами,

кутались в овчинные полушубки, но мороз сковывал языки, сводил губы, примораживал бороды.

— Эй, самоеды, не продавайте пушнину! Не отдавайте её зазря! — раздавался вдруг громкий голос наездника, который, стоя на нарте, лихо прогнал упряжку мимо рядов. — Не продавайте! Ваули в Обдорск идёт!

— Самоедский бунтарь идёт! Это его люди! Ватага! — истошно закричал кто-то из торговцев. — Перережет всех

И на ярмарке поднялся гвалт: заржали лошади, заскрипели сани, заголосили бабы. В суете приказчики не упускали случая поживиться.

— Ты куда деньги суёшь? — кричал архангельский купец в медвежьем полушубке, вцепившись в руку своего приказчика. — Или думаешь, я не вижу, вор окаянный! Вынь, вынь подобру, говорю! Вынь, не то дам по роже. На чужой каравай рот не разевай! — верещал купчишка, бегая вокруг плетённого короба.

Во многих местах начались драки. Купцы прятали деньги, золото, меха за пазуху, привязывали к поясам, толкали в пимы, кисы.

— Режут! — кричала баба, стоя на проезжей дороге и шарахаясь в сторону от гружённых подвод.

— Не ори ты! Грыжу наживёшь! — крикнул ей Ипполитко, нахлёстывая вожжами лошадёнку.

С церковной колокольни доносились раскаты.

– Пётр Силантьевич, Петруша, проснись! – обливала голову заседателя холодной водой Евдокия Павловна. – Ваули сюда идёт! Самоеды едут. Сколько говорила тебе: живи с ними в дружбе. А теперь?

Заседатель приоткрыл глаза. Услышав колокольный звон, потряс головой:

– Опять пожар, что ли?

– Хуже – плакала заседательша, сбрасывая в корзину всё, что попадало под руки. – Вот скоро башку тебе самому самоеды оторвут! – причитала она. – Вот и отжили. Вот и отлюбили. Пропадай теперь в этом крае ни за грош, ни за копейку!

– Хватит тебе каркать! Кто-то сболтнул, а ты поверила, – пробурчал заседатель и снова захрапел.

Глава 37

Перепуганные торговцы, яро настёгивая лошадей, понеслись восвояси. Обдоряне, ругаясь на чём свет стоит, что какой-то дурак испортил всю ярмарку, сидели по домам.

Подъезжая к Обдорску, Нечаевский остановил упряжки, приложил к уху ладонь и долго прислушивался, но ничего, кроме воя собаки, услышать не мог. «Неужели Ваули обогнал меня? Неужели успел всех порешить? Тогда в Берёзово надо кружным путём ехать, на глаза не попадаться», – думал мещанин.

Он разглядывал на снегу следы и, увидев бежавшую с горы лошадёнку, остановился, обрадовался, что зря нагоняет на себя страх.

Нечаевский облегчённо вздохнул, хотел слезть с нарт, чтобы вытащить из колокольцев тряпицы, которыми их затыкал, чтоб не было слышно звона, но передумал и погнал оленей к управе.

Афоня, признав упряжку Нечаевского, закричал так, что исправник, дремавший за столом в ожидании вестей, вскочил, но, сообразив, в чём дело, выскочил на крыльцо, стал целовать мещанина в холодные, покрытые инеем щёки.

Нечаевский, продрогший в дороге до костей, жался к теплу, гладил ладонями обмазанные глиной приступки.

— Ох и дорога, будь она трижды проклята! — заговорил наконец он. — А дела наши плохи. Не сегодня — завтра тут будут.

— Кто?

— Да самоеды, — сказал Нечаевский, будто рядом с ним был не исправник, а писарь Афоня. — Уезжать надо отсюда. Я только дам оленям передохнуть — и в Берёзово.

— Да, может, пронесёт тучу! — перекрестившись, вымолвил исправник.

— Какое там пронесёт! Вы даже подумать не можете, какая у него силища! Конца-то краю нет. Откуда столько народищу в тундре взялось? —

И Нечаевский замотал головой. — Как увидел я их — обмер. У всех стрелы, копыя. Оленей видимо-невидимо.

— А Ваули?

— Что — Ваули? — скосив голову набок, прошептал Нечаевский. — Он — господин! К нему пройти невозможно. Вот к вам, исправнику, я зашёл, а у него — охрана! Ни на шаг не отходят. Меня как паршивого пса приняли, гадание устроили, так я еле ноги унёс. Вот как перед господом богом говорю. — Нечаевский закашлялся. Кашлял долго, надрывно, то и дело хватаясь за бок. — Идёт он, идёт! — сопел мещанин, ощупывая пальцами обмороженный кончик носа. — Не сегодня-завтра тут будет, а что делать зачнёт, про то мне не сказывал.

— В Обдорск его одного заманить надо. Одно-го! — говорил исправник.

— Об этом и разговора никакого быть не может.

— Господи, спаси и помилуй! — перекрестился исправник.

Мещанин, радуясь в душе, что довёл исправника до испуга, продолжал:

— Их язычников, такими молитвами не успокоишь.

— Что же делать? Что? — спрашивал Скорняков Нечаевского, то писаря.

— Остановить его как-то надо, пока из Берёзова казаки приедут, а с их помощью... — И он не дого-

ворил. – А по моему вразумению, навстречу Ваули надо послать самого князя Тайшина так и так Ваули его в первую голову из князей выгонит, а лучше, если он сам этому разбойнику навстречу поедет. Принародно от своей власти откажется, этим собьёт Ваули с дороги. Пока то да сё...

Исправник глядел на мещанина, толстые его щёки затряслись не то от смеха, не то от слёз, и, не скрывая радости, он опять обнял Нечаевского.

– Так, говоришь, послать навстречу самого самоедского князя?

Тайшин, узнав от Афони, что из тундры приехал Нечаевский, бежал в управу как молодой олень, забыв про боль в спине. Даже шустрый на ногу Ипполитко едва поспевал за ним. Но, узнав, что ему самому надо поехать в тундру, навстречу Ваули, закричал:

– Не поеду! Ваули сразу убьёт! – переводил Ипполитко слова Тайшина. – Помирать сам буду. Ружьём себя стрелять буду.

Князь говорил визгливо, топая возле стола, за которым сидел исправник.

– Так ты не один поедешь. Старшин возьми с собой, которые приехали на ярмарку. Ты – хозяин! От самого государя медаль за своё усердие получишь. Тогда на веки вечные ваш род будет княжеским. А тебе только и надо, чтобы Ваули поверил твоим словам, чтобы в Обдорск не всей ватагой

шёл, а один или только своих приближённых взял, а мы тут народ соберём, ждать будем.

Тайшин стащил с себя малицу, бросил её в угол и сел, поджав под себя ноги. Казалось, что он совсем не слышит ласковых слов исправника.

– Поедем со мной, – неожиданно сказал князь Скорнякову.

– Мне нельзя с тобой, – нашёлся исправник. – Если в тундру поедет русский, всё дело испортит. А ты, если хочешь быть князем – поедешь навстречу Ваули, если нет – оставайся тут один. Помогать тебе никто не будет. Я велю приготовить оленей и уеду в Берёзово, – сказал Скорняков и почувствовал, как часто застучало у него в висках. Говорить он больше не мог, сел, сдавив кончиками пальцев виски.

«Разве позволит государь оставить так просто с трудом освоенные северные земли? – думал он. – Разве дозvoлят лишиться мягкой рухляди? Разве простится кому этот самоедский бунт, который может подать пример другим племенам?»

В это время в управу зашёл заседатель Соколов. Он был опять пьян, и, как заметили все, с приездом исправника к нему совсем не приходило просветление.

– Бог на помощь! – улыбаясь, крикнул он. – Всё судите да рядите, как бы Ваули изловить? Тайшин сам виноват. Ну и разбойник этот Ваули,

какой переполох учинил. Весь Обдорск ходуном ходит. Бабы, как коровы, базлают. Друг с другом прощаются.

— Вон отсюда! — не сдержав гнева, крикнул исправнику. — Не имеешь права со мной так разговаривать! И не в твоей власти лишать меня должности!

Но казаки подхватили Соколова под мышки и выставили за дверь.

— Едет он в тундру или нет? — спросил исправник у Ипполитки, когда в управе стало тихо.

— Едет, — ответил толмач, посмотрев на князя. Казалось, за какие-то полчаса на плечи князя навалился такой груз, который он не в силах поднять. Князь пошёл к своей юрте, сгорбившись, запинаясь о каждый ком снега.

Перешагнув порог юрты, пиная всё, что попало под ноги, он закричал на оторопевших старшин:

— Я знаю. Вы все привезли пушнину. Вы не сдаёте ясак и боитесь Ваули. Ты думаешь, Неруй, я не знаю, что у тебя полно мехов? Я скажу исправнику, чтобы он увёз вас с собой в Берёзово и драл там, за то, что не сдаёте ясак. — Тайшин кричал, глотая слова, размахивая кулаками.

— А сам-то? Не меньше боишься Ваули, — подхватил Ипполитко.

Князь опешил, подбежал к толмачу, больно схватил его за ухо, поволок на середину юрты.

– Ну, ты, юродивый! – закричал от боли Ипполитко и ударил Тайшина по руке. – Сам боишься к нему ехать, а на мне зло сорвать хочешь? – говорил он, ощупывая покрасневшую мочку уха.

...Стояли крещенские морозы. Всё живое спряталось, и только луна хозяйничала на небе, освещая округу. Тайшин неуютно сидел на нарте, оглядывался по сторонам, часто вздрагивал от окриков старшин, которые гнали упряжки за княжеской, в душе мечтая свернуть в свои стойбища, чтобы не встречаться с Ваули. Страх перед встречей с Пиеттомином лишил князя дум об оленьих стадах, о власти, о богатстве. Он боялся за свою жизнь. «Пусть, пусть Ваули будет князем, – думал он. – Пусть будет. Только пусть не бьёт меня. Пусть пожалеет мои кости».

К вечеру он увидел упряжку, впряжённую в белых оленей. «Ваули», – подумал Тайшин. У него перехватило дыхание, хорей показался тяжёлым то и дело выкатывался из рук.

– Торопись, князь. Ваули устал тебя ждать! – крикнул подъехавший к нему наездник, круто повернул упряжки и помчался обратно.

«Зачем ждёт меня Ваули? Как он узнал, что я поеду к нему» – думал князь.

Ваули расставил чумы на расстоянии одного дня езды до Обдорска и послал в город Тогомпа-

до. Но Тогомпадо, повстречав по дороге князя, погнал упряжки обратно.

Ещё издали услышал князь удары бубна. Глухие звуки тревожили душу князя, на миг унесли в далёкое детство, в счастливую пору, когда он не знал русской церкви. «Может, за это так сильно наказывает меня Нумо?» – рассуждал князь, но упряжки бежали между длинными рядами нарт, гружённых домашним скарбом.

Тайшин, увидев высокий чум и возле него самоеда в белом гусе, безошибочно узнал Ваули. Встав с нарты, пошатываясь, князь подошёл к нему и сразу упал на колени.

Прошёл ропот. Многие самоедки достали из-за пазух домашних идолов и стали молиться.

Ваули, не видевший князя со времени суда, заметил, что тот постарел. И сейчас походил на обычного оленщика, только богатая одежда отличала его от других.

– Зачем долго сердиться? Трава вечно не зеленеет, время на месте не стоит. Разве кто посмеет теперь тронуть Ваули? – не поднимая головы, говорил князь. В глазах его дрожали слёзы.

– Что ты курлычешь голосом весеннего птенца? У тебя верны только следы, которые ты оставляешь на снегу! – ответил Ваули. – Твой рот мал, а всю жизнь не может наполниться. Ты хоть раз вспомнил о своем народе? Ты видел когда-нибудь,

как бедняк вместо оленя тащит на себе нарты? Ты знаешь, как от голода пухнут люди и умирают? Знаешь, сколько могильных холмов оставили мы по берегам рек и озёр?

— Ты великий, Ваули, — вымолвил князь и поднял к небу руки. В его голосе не было лжи. — Я приехал, чтобы сказать всем: теперь я не князь! Теперь Ваули князь. Если тебе надо оленей, бери их! Бери тысячу. Десять тысяч. Они все твои. Дай, Ваули, я при всех поцелую твою руку.

Ваули смутился, посмотрел на соплеменников, которые стояли, ошеломленные всем, что происходило.

Старшины как сговорились: подходили и по очереди целовали руки Ваули.

— Ваули, не верь им! — крикнул Хонзали. — Они хитрые, как весенние голодные лисы. Ваули, прогони их, и мы пойдём на Обдорск. У наших детей вспухли от голода животы.

Тайшин еле поднялся на нарту, оглянулся по сторонам и стал низко кланяться людям.

— От твоих поклонов сыт не будешь! — крикнули ему из толпы. — Мы пойдём на Обдорск. Мы будем там дорого продавать меха. Мы купим муки и товаров. У богатых мы отберём оленей и разделим их поровну. Пусть каждый живёт хорошо.

— Поедем, Ваули, в Обдорск! — целуя его руку, сказал князь. — Там ждут тебя другие старшины.

Они отдадут всё. Зачем вести в Обдорск столько народу?

– Испугались, вонючие собаки! – крикнул Тогмпадо.

– Уезжайте отсюда! Уезжайте! Или мы разбросаем по тундре ваши нарты.

– Опомнись, Ваули! – остановил его Моттий Таск. – Не так часто приезжают к нам старшины. Они все старые люди.

– Убирайтесь! – не слушал Моттия Таска Ваули.

В большом чуме Ваули горел огонь. По стенам плясали косматые тени, сизый дым терялся в вершине островерхого жилища. Ваули, подставив руки к огню, поворачивал пальцы, будто играл с ним. Закипел котёл. Горячие всплески шумно падали в золу, но огонь вновь набирал силу и, вспыхнув, освещал хмурое лицо Ваули.

– Может, на Обдорск не вести весь народ? – глядя на огонь, спросил Ваули.

– Нельзя тебе ехать одному! – возразил Ямо Лазарин. – Князь и, старшины говорили неправду. Они боятся людей.

– Надо вести людей ближе к Обдорску! – добавил Хонзали. – Можно оставить дальше от казённых магазинов, а то люди сами начнут ломать их, таскать муку. Они перестанут нас слушать.

Ваули понимал, что не так-то просто сдерживать гнев людей. Там в тундре, было всё ясно: они идут

на Обдорск, чтобы заставить князя отказаться от власти. Совсем другое – когда они подходят к цели.

– Нет. Все сразу мы не пойдём на Обдорск, – после долгого молчания сказал Ваули, понимая, что от его слова будет зависеть многое. – Нарты встанут на расстоянии двух попрысков от города, а мы, двадцать человек, поедём первыми. Все будут ждать нашего знака. Вы, – обратился он ко всем, кто сидел в его чуме, – берите луки, стрелы, ножи, копья. Кладите на нарты под шкуры. Если поедём все враз – будет много беды. Разве мы знаем, что станет с жителями города? Разве все будут нас слушать?

– Я знаю: род Худи обозлён. Их старшина не может дожидаться, когда вспорет брюхо приказчику Иллариону, который отобрал у него пушнину, – сказал Ямо. – Он обязательно убьёт приказчика Иллариона.

– Нет, в Обдорск сразу все не пойдут, – повторил Ваули. – Если кто осмелится вперёд нас погнать упряжки, того догонит стрела. Так передайте всем.

Тученбала на цыпочках вошла в чум, прижалась на шкурах, слушая разговор со старшинами, не сводила глаз с Ваули. «У меня остановится сердце, – думала она, – если Ваули не приедет обратно, солнца в моих глазах больше не будет». Она говорила это и тогда, когда в чуме никого не было.

– Тученбала, зачем худые мысли приходят тебе в голову? – спрашивал Ваули. – После нашего похода на Обдорск солнце никогда не уйдет из тундры. Солнце будет всё время светить, и птицы никогда не будут покидать наши края.

– Хондли, иди ко мне, Хондли, – позвал Ваули сына. – Иди ко мне. Хоть ты и мал, но мне надо сказать тебе большое слово.

Мальчуган очутился около отца. Он был рад посидеть около него, потрогать в ножнах ножи, поиграть амулетами на широком резном поясе.

– Ты знаешь, Хондли, куда мы завтра идём? – спросил Ваули.

Сын кивнул головой.

– Ты знаешь, что мы поедем в город первыми, а Тогомпадо позовёт вас после?

– Мы будем ждать Тогомпадо. Я всё время буду стоять на нарте и первым увижу его.

– Ты видел стрелу, которая собрала много народу?

Хондли опять кивнул головой.

– Я оставлю эту стрелу тебе. Ты будешь хранить её и всегда помнить о её силе.

– Зачем такие слова ты говоришь ребенку? – волновалась Тученбала. – Зачем ему знать о стреле, которая принесла столько тревог?

Она с опаской смотрела на шкуру, в которой лежала бунтарская стрела. Сколько раз Тученбала

подходила к ней, чтобы бросить в огонь, но всякий раз перед глазами стоял Ваули, хмурый и недовольный, и она, холодея от страха, уходила, стараясь забыть о ней. «Зачем он снова вспомнил о ней? Разве мало эта стрела собрала народу?» – думала Тученбала. Отчаяние переполнило её сердце. Она подхватила Хондли на руки, прижала к себе.

– Не бойся, Тученбала. Я хочу отдать её на память нашему сыну. Пусть он всегда помнит о ней.

Ваули развернул стрелу, поднёс к огню, долго смотрел, ощупывая рукой каждую зарубку, и протянул её Хондли.

– Зачем ты сегодня отдаешь её Хондли? Разве не будет у тебя другого времени? Разве не будет другого часа? – спросила Тученбала.

Ваули промолчал.

Глава 38

Беспечно и праздно жил губернский Тобольск.

Опираясь на князьков и старшин, зная кроткий нрав северных народов, администрация губернского города была спокойна за отдаленную пустынную окраину. Назначенный исправник и заседатели имели большие полномочия и наделены были неограниченной властью.

Даже плохое поступление ясака в казну не вызывало у чиновников беспокойства. Они научились писать умные объяснения, ссылаясь то на су-

ровую погоду и миграцию зверя в другие районы, то на стихийные бедствия.

Берёзовскому престарелому исправнику Скорнякову искали замену, но в последнее время в Тобольске стали считать, что не следует с этим торопиться.

Весть о возмущении самоедов была для всех неожиданностью.

С утра дежурный Тобольской полицмейстерской конторы подпоручик Кокоулин, поджав ноги под стул, старательно выводил каждое слово приказа:

«Завтрашнего, 23 числа в доме Его превосходительства, господина генерал-поручика лейб-гвардии тобольского губернатора и кавалера П. Д. Горчакова, публичный маскарад. Почему Тобольская полицмейстерская контора имеет всем города Тобольска обывателям объявить: ежели кто изволит на оном быть, тем съезжаться в Дом Его превосходительства в маскарадном платье пополудни в пять часов».

Бравый подпоручик отложил в сторону перо, позвонил в большой серебряный колокольчик.

В дверях показалась форменная фуражка, и, вытянувшись в струнку, перед ним встал казак.

– Разослать сию же минуту, – сказал подпоручик Кокоулин и, довольный тем, что через несколько часов он будет непременно на публичном

маскараде, торопил время, глядел на стенные часы в деревянном футляре, отсчитывающие секунды, и ждал вызова Ильи Николаевича Лодыженского, гражданского губернатора.

В дверях показался казак.

– Нарочный из Обдорска! – сообщил он, подавая пакет. – Двадцать ден нёсся на перекладных.

За дверью раздался долгожданный звонок. Прихватив пакет, Кокоулин вошёл в роскошный кабинет, уставленный резными стульями. За широким полированным столом сидел не по годам грузный человек. Хотя все знали, что по утрам Илья Николаевич старательно делал всевозможные компрессы, лицо его не казалось свежим. Редкие глухие покашливания выдавали его недуг, из-за которого он все время намекал, что собирается подать в отставку, но, как говорили все, боялся потерять и власть, и внимание к себе.

Лодыженский тяжело поднял веки и пристально посмотрел на Кокоулина.

– Ваше превосходительство, – сказал подпоручик, – срочный пакет из Обдорска. От исправника Скорнякова.

– Что ещё там за срочности? – срывая с пакета печать, спросил Лодыженский. Но лицо его сразу стало сосредоточенным, часто задёргалось веко левого глаза. – Где нарочный?

От строгости губернатора Кокоулин вытянулся:

– Здесь. С дежурным.
– Сколько дней был в дороге?
– Двадцать! – ответил подпоручик громко.
– Срочно позовите ко мне чиновника Казачинского.

Сухощавый, седеющий, всегда аккуратный в делах, чиновник по особым поручениям Тобольского общего губернского управления Яков Казимирович Казачинский считался одним из исполнительнейших служащих. Ему поручались самые ответственные дела.

По пути в кабинет Лодыженского он перебирал в памяти все события последних месяцев и не мог догадаться, по какому делу его вызывают.

– До весёлой жизни мы дожили, – прикрывая наглухо дверь, сказал Лодыженский. – В Обдорске нашёлся самоед-смельчак Ваули Пиет-то-мин. – Губернатор по слогам тянул фамилию бунтаря. – Весь город в страхе. Ватагу в четыреста чумов собрал, а у нас там полицейских служителей всего семь человек. Не от добра исправник нарочного послал. За такие дела нас с вами по головке не погладят, – говорил он, расхаживая из угла в угол по кабинету.

Чиновник сидел ошеломлённый известием. «Неужто в такую стужу придётся ехать на край света?» – думал он и, не выдержав молчания Лодыженского, сказал:

– Быть может, это всё сплетни, а у страха глаза велики.

– Нечего нам гадать! – строго ответил Лодыженский. – Из Обдорска второй год не поступает ясак. Мы сидим, ищем причины, делаем отписки, а там того и гляди самоеды такого натворят! Не хуже Стеньки Разина или Емельки Пугачёва.

– Да помилуй бог! – перекрестился чиновник.

– Берите нужных вам людей. Получайте прогонные – и с богом. Знайте, что я на вас полностью полагаюсь, Яков Казимирович. Думаю, что это и в ваших интересах.

– Тут, если я правильно понял письмо Скорнякова, комиссией не отделаться. Тут нужна казачья команда, – сказал Казачинский.

– Отсюда ни одного человека не возьмём. Нечего наводить тень на плетень. Казаков срочно отправим из Берёзова. С этим я вперед вас нарочно отправлю.

Казачинский, нервно кусая губы и не решаясь ни о чем спрашивать Лодыженского, откланялся и вышел. «Вот тебе и пиковый интерес», – сказал он сам себе, вспомнив, как, провожая его утром на службу, жена крикнула: «Яшенька, а тебя сегодня пиковый интерес ждёт! Вот сколько гадаю, а виновая дама и десятка так от тебя и не уходят – все рядом. Все рядом!»

Проходя мимо губернаторского дома, освещенного разноцветными огнями иллюминаций, Казачинский видел, как в нём идут пышные приготовления.

Из ворот наперерез, как вспугнутые птицы, выбежали одетые в цветастые балахоны с широкими пелеринами скороходы.

Приоткрыв щеколду ворот, Яков Казимирович увидел на крыльце счастливую жену.

— Как кстати! — крикнула она, подставляя щеку для поцелуя. — Я думаю, сегодня на балу будет превосходно! Сколько новых людей прибыло! Все-все как есть столичные.

Чиновник не знал, как сказать жене о своем срочном отъезде в Обдорск.

— Ну чего ты молчишь? Или у тебя нет желания идти на такой блистательный бал?

— Завтра, вернее сегодня в ночь, еду на Север, в Обдорск, — не глядя на жену, постепенно раздражаясь и отделяя каждое слово, произнёс Яков Казимирович.

— Что-о-о?

— Уезжаю. В Обдорск, — уже спокойнее повторил чиновник, видя, как багровеет лицо жены.

— Всю молодость провела в Сибири! — истерично закричала жена чиновника. — Прожила как каторжная, а какие партии были! Барон Фур! Герцог Зашохотский! Полковники. А тут несчастный

чиновник! Боже мой! Другие хоть выгоду какую имеют, а я только молодость тут сгубила. Другие только явятся на Север – сразу озолотятся, а ты? Ну какого ещё дурака на лошадях в такие снега пошлют? Кого?

– Государева служба для меня всегда была выше всего, – ответил Яков Казимирович и, оглянувшись по сторонам, шёпотом сказал: – Дело секретное.

Вытирая кулаком слёзы, жена присела поближе к Якову Казимировичу, ожидая подробностей.

– Самоеды там бунт учинили. Русских всех режут.

– Спаси и помилуй, пресвятая богородица! – перекрестилась жена, всё ещё всхлипывая от обиды на мужа.

– Только, ради бога, никому ни слова, – умоляюще сказал Казачинский.

– Да что ты, любезный мой. Разве я не понимаю, какая у тебя служба! Подумать ведь только, а? Самоеды взбунтовались! Вот наказание-то господне. И чего им там не живётся?

Глава 39

После приезда с князем из тундры Ипполитко захворал. То ли простуда одолела его, то ли началась хандра, но всё его тело ныло, и колотила дрожь. «Пропадёт самоед, пропадет буйная голо-

ва, если он поверил им, — думал толмач. — Вот ведь стерва какая, а? — ругал он князя. — И откуда только что взялось? Видать, от страха. Сам перед Ваули на коленях ползал, — горестно вспоминал Ипполитко, — от княжества отказывался, руки целовал, а как в управу влетел, все жилы на шее вздрагивали. «Ловить Ваули надо! Ловить!» — зло передразнил он князя. — Видно, неохота с княжеством расставаться».

За юртой выла метель и наводила неопишемую тоску. Ипполитке казалось, что она сжимает сердце, и оно вот-вот остановится. «Чего я лежу? — спрашивал он себя. — Ведь изловят они его. Изловят. Почитай, в каждой избе торговцы и мещане засели кто с чем. А казаки? Тех хоть и мало, а у всех ружья наизготове. Неужели Ваули пойдёт в Обдорск один? Неужели поверил князю? Как на зло, нет возле юрты ни одной упряжки, а то бы махнул к нему да предупредил. — Толмач выскочил из юрты, огляделся по сторонам. Дома, засыпанные снегом, походили на стога сена, наметанные вдоль берега реки. — Видать, опять мороз заворачивает, — думал толмач, ежась на холоде. Лохматая собачонка, виляя хвостом, крутилась около его ног. — А что, если к Андрею Прокопьевичу сбегать, а? — подумал Ипполитко. — Возьму да и расскажу ему о своей печали. Бывают же добрые люди на свете. Да и жена его теперешняя,

все говорят, в дружбе с самоедами жила. Может, что и посоветует?» – рассуждал Ипполитко, а сам уже бежал вдоль улицы, натянув на глаза мохнатую шапку.

Остановившись возле дома купца Есаулкова, перекрестился на чёрные глазницы окон, прикрикнул на скулившую собачонку и, перекинув полушубок через забор, как кошка, взобрался на обледенелые бревна, вмиг очутился во дворе. К двери подходил на цыпочках, от страха сощурил глаза, постучал козонком среднего пальца.

Скоро услышал шаги и сонный голос купца. Сжался в комок. Казалось, он ничего так не боялся в жизни, как теперь встречи с купцом.

– Кто там? – послышалось за дверью.

Ипполитко потряс головой, будто просыпался ото сна, и не своим голосом протянул:

– Простите, Андрей Прокопьевич.

– И кого это носит по ночам? – сказал купец, открывая крючок с двери. Он, держа над головой свечу, смотрел на прижавшегося к стене человека и, чувствуя, что тот ничего не может сказать, позвал в избу.

Ипполитко стоял, дрожа всем телом. Давно не стиранная косоворотка без пуговиц помята, из-под худых рукавов видны локти, нечёсанные русые кудри закрывали лоб, нависали на глаза. В руках он мял шапку и смотрел на купца испуганно.

– Ты чего раздет в такую стужу? – спросил Есаулков, крепче прикрывая дверь. Толмач молчал, потом пал на колени.

– Прикажи завтра высечь меня, только дай слово сказать, душу выплакать, любезный Андрей Прокопьевич.

– В церковь тебе надо идти, там грехи замаливать! Или ты пьян?

– Заставь меня казнить, только послушай, Андрей Прокопьевич, – скрестил Ипполитко руки, как перед образами. – Ловушку изготовили Ваули. Изловить его хотят! – выпалил толмач. – Про него пустое болтают, горожан пугают. А он никого и пальцем не тронет, окромя своего князя да старшин. Я чистую правду говорю. Я только с князем в тундру ездил, так князь при всем самоедском народе у него руки целовал, от княжества отказывался, а как приехал в город, так такую засаду готовят! – Ипполитко говорил торопливо, не переводя дух, боясь взглянуть на купца. – Защитить надо Ваули. Другого такого самоеда у них никогда не будет.

– Перестань, – остановил его купец, ставя на стол свечу. От негодования он толкнул ногой табуретку так, что она перевернулась. На пороге комнаты появилась побледневшая Клавдия Петровна. Она смотрела на Ипполитку, и в глазах её стояли слёзы.

Отвернувшись к стене, Ипполитко видел тень большой головы купца.

— За такие слова тебя самого на виселицу надо вместе с этим самоедом. Сегодня самоед уберёт своего князя, завтра ты пожелаешь убрать всех купцов и сделать меня равным с тобой.

Ипполитко перекрестился, взглянул на купца. Брови у Андрея Прокопьевича сломались и нависли на глаза, нервно шевелились ноздри горбатого носа, и он, не находя слов для толмача, глухо кашлял.

— Эх, Андрей Прокопьевич, Андрей Прокопьевич, — шёпотом сказал Ипполитко. — Сплоховал я. Не обессудь. Не тому человеку прокукарекал свою песню! — И он, пошатываясь, придерживаясь за стены, вышел в сени.

— Смутьян! Наглец какой! — купец, ошеломлённый неожиданным появлением толмача, сел за стол, тяжело дыша. Вмиг припомнил Берёзово, председателя Курочкина, свой скорый отъезд из Берёзова и с ужасом подумал, что всё это было связано с самоедским бунтарем.

— Ипполитко, — выбегая из комнаты, кликнула толмача Клавдия Петровна, но тот не обернулся. Накинув на плечи суконную шаль, она выбежала за ним. — Возьми, возьми, Ипполитко, эти деньги, — говорила она, касаясь руками его худых вздрагивающих плеч. — Возьми!

Толмач, не слыша её, плакал. Потом взял руку Клавдии Петровны и поцеловал её горячими влажными губами.

Он плохо помнил, как прибежал в юрту к князю, как упал в угол на шкуры. «Пропал Ваули. Истинный бог, пропал», – говорил толмач в жару, но никто из старшин не мог понять его слова.

Глава 40

В ночь перед походом на Обдорск Ваули не спал. Он слышал, как поскрипывает ременная упряжь, как изредка звенят колокольца на шее коренника, тихо урчит во сне дремавшая собака. Он всматривался в лицо Тученбалы, пытаясь разглядеть его при мглистом свете луны, который попадал в чум через маленькое отверстие.

Ваули показалось, что Тученбала помолодела, на переносице куда-то спряталась глубокая морщина, губы приоткрыты, ладонь, положенная под правую щеку, будто нарочно спрятала от него чёрную родинку.

Ваули давно не видел её такой спокойной. Ему хотелось потрогать её косы, которые она с вечера туго переплела, украсила разноцветными нитками и тесёмками, но он побоялся нарушить её сон. «Пусть спит. Кто знает, каким будет завтрашний день. Что принесёт он? Правдивыми ли были

слова князя?» — думал Ваули и услышал тихое урчание собаки.

Тученбала вздрогнула, вскочила.

— Кто там? Кто там идёт? — спросила она, натягивая на голову меховую шапку. Но увидев рядом Ваули, легла, со вздохом вымолвив: — О Ваули, как я испугалась!

В чум вошёл Тогомпадо. От него пахло снегом и дымом.

— Ты чего ходишь по ночам? — спросил Ваули.

Тогомпадо молчал, не находя места. Он не мог спать.

— Дай, Ваули, твою руку: она даст мне силы, отгонит страх.

— Зачем ты говоришь такие слова? Кто сказал, что Тогомпадо потерял силу?

— Никто не сказал. Просто моя душа от страха трепещет.

Ваули крепко сжал руку друга, в которой и в самом деле не почувствовал прежней силы.

— Держись, Тогомпадо. День большого похода принесёт всем хорошую жизнь. Ты много сделал для этого дня. Разве люди не знают, какое храброе у тебя сердце? Всё ли ты взял с собой?

Тогомпадо кивнул головой.

— Может, мы все сразу поедem в Обдорск? — спросил Тогомпадо.

– Нет, – ответил Ваули. – Ты знаешь, всем сразу нельзя.

– А вдруг князь говорил неправду? – не унимался друг.

Возле наскоро поставленных чумов ходили люди. Чувствовалось, что все они готовы в поход. До Обдорска осталось полдня езды на оленях.

Ранним утром шаман ударил в бубен, призывая снимать чумы. Когда из чума вышел Ваули, он отложил бубен в сторону и сел на нарты, запрокинув голову.

Впервые Ваули надел на голову реликвию рода – священный обруч с маленьким рожком посередине. Он стоял на нарте в широкой малице, опоясанный нарядным поясом с ножнами и колчаном стрел. Лук и копье лежали возле его ног.

– Люди, – громко сказал Ваули, поднимая над головой бунтарскую стрелу. – Все вы поставили на ней свою тамгу. Вот сколько людей собрала она. Все тут бедняки, все безоленные. Разве вы не знаете, что на оленях, в которые впряжены упряжки, стоят тамги богатых старшин? Разве вы не знаете, что не они дали вам оленей, а мы отогнали их из стад? Все вы знаете. Теперь заставим старшин отдать свои стада всем безоленным охотникам. Мы заставим их никого не считать должниками. Они сами давнишние должники наших отцов и дедов.

– Хорошие слова ты говоришь, Ваули. Пойдем скорее на Обдорск. Наши упряжки готовы. Олени давно ждут твоего окрика...

– Нет, – сказал Ваули. – Сейчас в Обдорск поедут не все. Вы будете ждать нас поодаль. Тогомпадо повернёт свои упряжки, как только князь передаст мне свой княжеский кафтан, как он при вас обещал это сделать.

Снова Хозган забил в бубен...

Два десятка упряжек помчались к Обдорску, оставляя после себя глубокий след на снегу.

...Прижавшись к замёрзшему стеклу, купеческий сын Константин Нижегородцев, оттолкнув отставного коллежского регистратора Николая Никитина, сказал:

– Теперича моя очередь высматривать. Мне почудилось, что олени бегут. Бегут! Матерью божьей побожусь – бегут! – крикнул он.

– Чего теперь делать? – спросил, заикаясь, коллежский регистратор.

– Будем ждать, когда из избы урядника выстрел будет. Тогда не плошай. Выбегай и кроши всех самоедов, какие под руку попадутся. Приказ вчера такой был.

– Я никогда таким делом не занимался, – сказал коллежский регистратор. – Какой я вояка?! На меня палкой замахнись – я и глаза закрою, не то что нож перед глазами промелькнёт.

Князь Тайшин первым услышал приближающихся оленей. Задрожал как в лихорадке, раздетым выскочил на улицу, замахал руками. Увидев, что олени остановились и никто не встаёт с нарт, он подбежал мелкими шажками, поцеловал подол малицы у Ваули.

— Пойдем в юрту. Там ждут тебя старшины. Они приготовили тебе свой первый ясак, — говорил князь, распахнув дверь.

Ваули нащупал за пазухой нож, позвал с собой Тогомпадо, Хонзали, Ямо, приказал остальным оставаться у оленей, на нартах.

Князь говорил Ваули правду. Старшины при виде его положили к ногам связки песцов, соболей, лис.

— Зачем так сердит Ваули? Чем недоволен? Тебя слушает вся тундра, — лебезил князь.

По всему полу юрты были разостланы оленьи шкуры. В углу ярко горел чувал. Куржак на промёрзшем окне таял, и в притаившейся тишине было слышно, как на пол, стекая, падают капли.

— Ты знаешь, князь, за поворотом нас ждут люди. Ты видел их. Вчера при всех ты отказался от своего княжества, а теперь сидишь в кафтане, — сказал Ваули.

— Я сейчас, я не забыл своих слов! — заторопился Тайшин. Он закричал, торопливо стащил с себя малиновый кафтан, подал Ваули.

– Что вы проглотили языки? Или не знаете, какие слова надо говорить князю? – напомнил Ваули старшинам.

Старшины доставали меха. Кланялись Ваули, обещая сегодня поехать в стада и отдать оленей столько, сколько он попросит. На Тайшина напал страх: «А вдруг всё так и останется? Вдруг исправник уехал в Берёзово? Выгонит тогда меня Ваули, как паршивого пса, в тундру. Обманул исправник, обманул», – думал Тайшин, натягивая на себя вместо кафтана малицу.

Ипполитко, очнувшись от забытья, которое приключилось с ним после возвращения от купца, смотрел на Ваули, но уверенность, невозмутимость предводителя передалась и ему.

За юртой слышались голоса. Князь, не сумев скрыть волнения, заерзал на шкуре, но Тогомпадо тут же выбежал из юрты.

– Нечего делать! – кричал он. – Убирайтесь!

– Да дай я вашему Ваули слово скажу – кричал казак, пытаясь открыть дверь юрты.

– Уходи! Мы сами решим свое дело, – говорил Тогомпадо, отталкивая казака.

– Ну и черт с вами, – сердито ответил тот. – Тогда скажите вашему Ваули сами: его к себе исправник зовёт.

– Иди, иди, без исправника обойдемся.

Узнав, что в юрту Тайшина никого не пускают, исправник, перекрестившись, стал надевать мундир.

— Как только зайду в юрту — давай знак. И пусть палят из всех ружей, — наказал уряднику Шахову исправник.

— Они вас там порешат! Юрта-то крохотная: корова ляжет — хвост протянуть негде!

— На все есть господня воля, — вздохнув, сказал исправник, снова перекрестился и пошёл к юрте князя Тайшина, в которой никогда не бывал.

Возле юрты трое самоедов перегородили ему дорогу.

— Да вы чего это? — строго сказал Шахов, важно поправляя усы. — Это самый главный русский старшина. Ваули будет рад его видеть.

Самоеды переглянулись и, взглянув на важный вид Скорнякова, посторонились.

Дверь в юрту распахнулась. Исправник, задыхаясь от волнения, переступил порог, поклонился.

— Здравствуй, Ваули! Что же ты не идёшь ко мне? — он протянул Ваули руку.

Ипполитко, зажмурив глаза, закричал на всю юрту:

— Ваули, беги! Они обманывают тебя! Бегите, бегите! Зовите своих людей! — кричал толмач, держа князя за подол рубахи, который с испугу выдавил раму и повис на подоконнике вниз головой.

На улице со всех сторон слышались ружейные выстрелы. Стоявшие у нарт сподвижники Ваули выхватили из-под шкур копыя и стрелы, бросились к юрте князя. Нечаевский, подбежав к нартам, острым ножом перерезывал упряжь. Перепуганные стрельбой и шумом олени без нарт помчались в тундру. В юрте шла давка. Как медведь в берлоге, заорал урядник. Прижимая ладонью окровавленную щеку, вслед за князем втокнул голову в маленькое окно и вывалился на снег, оставив на гвозде клочок мундира.

Ваули выхватил из-за пазухи нож, расталкивая всех, побежал к упряжкам, где лежало оружие. В воздухе мелькали лезвия ножей, летали поленья, жерди.

Олени разбежались, оставив на месте нарты. Товарищи окружили Ваули, никого не подпуская к нему.

– Чего вы стоите? – орал урядник перепуганным горожанам и торговцам. – Или не знаете, какая сейчас навалится орава? Стоит только одному оленю выбежать с перерезанной упряжкой за поворот реки – навалится орава, перетопчут всех!

Обнажив саблю, он бросился в толпу. Подбодренные урядником, торговцы осмелели.

– Гоните оленей! Зовите людей! – кричал Ваули, отбиваясь от сабли урядника.

Заседатель Соколов залез в копну сена недалеко от юрты и бранился оттуда, то и дело пряча голову. По снегу волокли пойманного тынзяном Тогомпадо. Он вертелся как вьюн, намереваясь по пути схватить урядника за ногу. Ваули изловчился, чтобы перерезать тынзян, но сильный удар поленом по голове затуманил его глаза. В руках потерялась сила. Он повернулся и снова крикнул:

– Скорее в тундру! Зовите людей!

– Хватайте их! Хватайте всех! Они все до одного смутьяны! – кричал Нечаевский, вытирая потное лицо шапкой.

– Предатель! Пусть убьёт тебя русский бог! – кричал Хонзали и плевал в сторону мещанина.

– Вяжите их! Вяжите! Да скорее в управу, а то вся ватага нагрянёт! – не унимался Нечаевский, кружа вокруг юрты князя на упряжке.

Ипполитко, схватив жердь, ворвался в толпу и сколько было силы прохаживался по спинам согнувшихся в драке торговцев.

– К берегу с ружьями! – командовал урядник. – Готовьте ружья. Я видел, один из них унёсся в тундру.

В изорванных полушубках, без шапок, мещане скручивали пойманным самоедам руки, под крики озорных мальчишек и ругань баб толкали в спины палками, вели в управу. Ваули лежал связанным на снегу с окровавленной головой.

– Его, его тащите в управу! Не забудьте пальцы вывернуть! – В них вся его сила! – кричал Нечаевский казакам, которые бросили Ваули на нарту и повезли в управу.

Одинокая упряжка оленей бежала в сторону оставшейся ватаги Ваули. Вначале всем показалось, что наездник издали подает знаки, но, когда увидели его окровавленное лицо, разорванную малицу, догадались: случилась беда.

– Скорее! На помощь Ваули! – закричала Тученбала.

– Скорее, сынки! – дрожащим голосом говорил Моттий Таск, не в силах встать с нарт.

Отряд понёсся к Обдорску.

Всем казалось, что вот-вот из-за поворота выскочит упряжка Ваули, но навстречу бежали олени с перерезанной упряжью.

– Вот, вот! Это бежит сам Ваули! – кричал в истерике шаман, увидев коренника из упряжки предводителя. – Это он! Сейчас олень сбегает на нашу речку, напьется воды и снова прибежит человеком, – кричал старик, но его никто не слушал.

Увидев приближение упряжек к городу, исправник Скорняков, багровея от натуги, крикнул:

– Огонь! Палить сколько есть силы!

Выстрелы потрясли воздух. Испуганные олени опрокидывали нарты, барахтались в снегу и неслись в разные стороны.

– На помощь! На помощь Ваули! – кричала Тученбала, стоя на нарте. Её трудно было узнать. Как будто ружейные выстрелы сбросили с неё всегдашнюю робость. Она стояла на нарте с открытым лицом, непокрытой головой. В её взгляде, повороте головы была такая несвойственная самоедской женщине решимость, что Моттий Таск преклонил перед ней голову.

– На Обдорск! – кричала она и, схватив в руки копьё, во весь мах погнала упряжку.

Глава 41

С берега ещё доносились одиночные выстрелы, а исправник уже лихорадочно диктовал Афоне текст письма генерал-губернатору Западной Сибири, обхватив лоб дрожащими руками. Записав сказанные исправником слова, Афоня сидел, не поднимая глаз, то и дело кусая ногти на пальцах и незаметно сплёвывая их через плечо. Шумное дыхание исправника пугало писаря. «Ежели опять переписывать заставит – тогда беда. Бумагу как есть всю измарали. Где её тогда брать – думал Афоня.

В это время в коридоре управы поднялся крик.

– Мне надо к исправнику! У меня сурьезное дело! – кричал кто-то казакам, стоявшим у дверей. – Ну честное слово, у меня такое дело, про которое только с глазу на глаз говорить надо.

– Ты чево? Одурел? Он письмо генерал-губернатору сочиняет.

– Пусти! – Ипполитко ворвался в комнату.

– Это ещё что! – рявкнул исправник.

– Пусть и Афоня уйдёт. Пусть уйдёт! – толмач, пошарив за пазухой, вытащил пачку денег, положил на письмо генерал-губернатору.

Глаза исправника, как острые гвозди, впились в толмача, который теребил в руках шапку с оторванным ухом.

– Это что? – прохрипел он, показывая на пачку денег.

– Деньги. Вам деньги! – прошептал Ипполитко.

– Какие ещё деньги? – спросил Скорняков, толстым пальцем отодвигая пачку ассигнаций.

– Что вам стоит отпустить Ваули за такие деньги? Отпустить только одного человека. И все деньги – ваши, – бормотал толмач, пошатываясь. Скорняков, кажется, на время забыл все слова. Он мог представить что угодно, но никогда не думал, что этот лоскутник осмелится на такую дерзость.

– Ты ошалел? – хрипло дыша, спросил исправник, хватая Ипполитку за шиворот. – У кого украл?

– Отродясь ничего не крал. Вот тебе истинный бог! – побожился толмач. – Да и какая ваша забота про то? Берите – и всё. А ночью отпустите Ваули. Скажите, что убёг.

– Запорю! До смерти запорю!

– Твоя воля. Только Ваули отпусти. Сделай доброе дело.

– Я вытяну из тебя жилы – ты скажешь, откуда у тебя деньги!

– Не скажу. Вот ещё раз побожусь: не скажу.

Ипполитко стоял перед исправником побледневший. Может, его не сходявшая с лица улыбка больше всего пугала и злила исправника. Он подержал в руках деньги, хотел было положить в карман, но потом выбросил на стол и позвал казаков.

– Забрать его! Заковать в кандалы и посадить!

– Денежки-то не прикармань! – крикнул Ипполитко, когда его повели казаки.

У Скорнякова в глазах вертелись тёмные круги, но, пересилив себя, он стал перечитывать письмо, написанное генерал-губернатору.

«...сделавший возмущение между инородцами беглый самоед Ваули Пиеттомин с пятью человеками другими, с ним в грабеже участвовавшими, пойманы и посажены в острог. В Берёзовском округе водворено совершенное спокойствие».

Тут он сам поставил точку и, обессилев, уронил голову на стол. Афоня, почуяв неладное, заорал, стал сзывать на помощь. Подбежав к исправнику, начал дуть ему в лицо, обтирать лоб тряпкой.

Ноздри крупного носа исправника вздрагивали, шевелились воспалённые веки, будто нарочно

сжимали слёзы, которые катились по глубокой морщине возле носа.

На окраине города слышались выстрелы. В Обдорск входила берёзовская казачья команда.

– Ваше благородие! Ваше благородие! – кричал писарь исправнику в уши. – Радость-то какая. Казачья команда прибыла. Слышите выстрелы?

Скорняков с трудом поднял голову.

– Слава богу, подсоба пришла. Теперь угомоним окаянных язычников, – совладав с собой, сказал исправник.

– Вы чего расселись? Чего нежитесь? – вбежал в управу исцарапанный заседатель Соколов. – Самоеды захватили казённые магазины, подогнали упряжки и грузят муку. Прут в город напролом!

Берёзовская казачья команда добиралась в город четверо суток. Уставших, перемёрзших казаков тут же отправили к казённым магазинам.

– Опоздали уже! И надо же как подчистили! Весь город без хлеба – оставили! – подбегая к пустым складам, кричали приказчики.

– Сейчас слабину давать нельзя! – убеждал Шахов, видя настроение прибывших казаков. – Они, самоеды-то, осмелели, того и гляди ещё своего вожака освободить захотят. На это у них духу хватит.

Скорняков никого и ничего не хотел слушать – торопился уехать из этого проклятого города. На разговоры и просьбы не обращал внимания.

Князь Тайшин, не скрывая радости, улыбался всем и, сбившись с ног, искал толмача.

– Уходи, князь! Уходи. Теперь не до тебя! – отмахивался Шахов. – Князем остался, моли богу.

– Ипполитко, Ипполитко, – не унимался князь, подбегая к заседателю Соколову.

– От усердия наш исправник не знает, кого упечатать в каталажку, – сердито говорил заседатель, приказав казакам отпустить толмача.

– Не можем, – услышал в ответ.

– Кто в этом доме хозяин? – не выдержал заседатель.

– Этого толмача следует посадить в острог, – сказал исправник. – Или и вы от него деньги имеете? Толмач этот, если угодно знать, господин земский заседатель города Обдорска, – главный тут заговорщик.

Соколов брезгливо поморщился и махнул рукой.

– Обидно, обидно за вас, Пётр Силантьевич. У вас на глазах творится такое, а вы не знаете.

– Да бросьте вы дурака валять! – ответил заседатель. – Мало ли кого вам захочется признать соучастниками.

– Ну, знаете ли, любезный, на этот счёт у меня доказательства имеются. – И он достал из стола пачку денег. – Что, вы думаете, это?

– Деньги.

— Было бы вам известно, что эти деньги предложил мне толмач, чтобы я отпустил смутьяна. Каково, а?

Соколов громко захохотал, потёр указательным пальцем припудренные ссадины на носу:

— Не может того быть. Где взять ему столько?

— Вот вам об этом и не мешает подумать, — сказал Скорняков.

Колокольный звон перебил их разговор. Он звал обдорян на благодарственный молебен.

Иерей надел наскоро нарядную ризу, быстро перебрал требники, снял со стен иконы.

От копоти на иконах руки почернели, в широкие рукава ризы попали тенёта, а паук-крестовик, раскачиваясь на тонкой паутине, повис перед самым образом девы Марии. Иерей долго чихал и фыркал от пыли.

На крыльцо вышел, как подобает священнослужителю, невозмутимым. Размашисто окрестил округу, послал во все стороны поклоны, высоко над головой поднял икону Николы-чудотворца и вместе со свитой направился к месту утренней схватки.

На дороге валялись перевёрнутые вверх полосьями сани, сброшенные с прясел жерди, раскиданные поленницы, рассыпанное сено. Снег вокруг перемешан, истоптан, то тут, то там темнели клочья малиц и полушубков.

«Однако он тут огрел меня». – Проходя мимо пленницы, урядник нащупывал языком пустоту вместо зуба.

Мещане и купцы вышагивали важно, расчесав на груди бороды, старательно смазав самоедские отметины гусиным салом.

Ребятишки бежали стороной: забегая вперед, разглядывали вооружённых берёзовских казаков, которые, получив от исправника замечания, старались по мере своих сил быть примерными.

Князь Тайшин надел княжеский кафтан и вместе со старшинами низко кланялся, первым ступая на разостланные шкуры.

Держа над головой икону Николая-чудотворца, иерей басом тянул:

– Святый Боже! Святый крепкий, святой бессмертный, помилуй нас!

Толпа дружно отвечала ему:

– Помилуй нас! Помилуй нас! Помилуй нас!

– Отче наш, иже еси на небеси! Да святится имя Твое! Да приидет царствие Твое. Да будет воля Твоя...

Исправник украдкой смотрел на самозабвенное моление самоедского князя.

– ...Помоги нам, Боже Спасителю. Славы ради имени Твоего. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему даждь славу!

Над обнажёнными головами людей клубился пар. Иерей тербил побелевшие на морозе мочки ушей, морщился от боли. Затем торопливо передал икону посиневшему дьячку, снова запел.

Старшины, низко кланяясь, пошли к нартам и положили к ногам иерея голубых песцов.

– Ух, разбойники! – не выдержал урядник. – Привезли, нехристи, меха, а ясак не сдавали!

– Мошенники! – закричал успевший захмелеть заседатель Соколов, но заседательша больно ткнула его в бок. – Столько пушнины! Не сегодня же настреляли. Тоже Ваули боялись, заговорщики? – не унимался он.

Ружейный салют берёзовской команды заглушил его крик, а старшины, закричав от испуга, схватили каждый свою связку песцов и бросились врассыпную.

– Ку-уда? Кладите пушнину на место! И чтобы никто пальцем не трогал! – кричал Шахов. – Это благодарственный подарок в казну!

Иерей не слушал ничьих слов: он тянул молитвы охрипшим голосом и скоро окончил молебен.

Исправник сел в упряжку, которую подогнал к молению приказчик Нечаевского, быстро вернулся в управу.

– А чего будем делать с толмачом? – спросил казак.

– Чуть было не забыл про этого заговорщика, – вздохнул Скорняков, вспомнив о пачке денег.

Ипполитку ввели. В худом, залатанном пиджакишке, в сатиновой косоворотке, с чубом выющихся волос, он походил на озорного мальчишку.

– Чьи деньги? – спросил Скорняков, не глядя на толмача.

– Были мои, а теперича ваши, – ответил Ипполитко.

– Откуда такие деньги?

– Про то вам никакого дела нету. Мои деньги были, и все!

– Так зачем ты мне их отдал?

– Про то я вам одному говорил, а при других говорить не стану,

– Станешь.

– Вот расшиби меня гром, не стану! Я даже перекрещусь! – И Ипполитко поднёс ко лбу кандалы.

Выведенный из себя исправник ударил толмача по щеке. Ипполитко не устоял, попятился и упал на пол.

– Нехорошо, ваше благородие! Чо же вы такой драчливый?

– Я тебе не самоедский князь! Кто подослал тебя ко мне? Кто дерзнул подкупить меня, государственного человека?

– Али у меня у самого ума нет? Чай, я тоже думать умею, – обтирая локтем рассечённую губу, ответил толмач.

– Будьте свидетелем! – сказал исправник усатому казаку из берёзовской команды. – Позовите ещё двух и считайте деньги. Если ничего не скажет – порите! За каждую бумажку – по плётке! – И исправник, хлопнув дверью, вышел.

Трое казаков, поплёвывая на кончики пальцев, мусолили ассигнации, украдкой посматривая в окно. Моргнув, один положил бумажку в карман.

– Куда чужие деньги? – закричал Ипполитко. – Они на дело были дадены!

– Ну, погоди! – пообещал усатый казак. – Узнаешь, во что тебе обойдётся каждая бумажечка.

– Не твоя печаль, – ответил толмач. – Не воруйте!

Вошёл Скорняков. Есаул доложил:

– Восемьдесят пять штук – одна к одной.

– Восемьдесят шесть должно быть! – возразил Ипполитко.

– Значит, восемьдесят шесть? – скрипя зубами, спросил всё тот же казак. Ипполитко кивнул головой.

Двое казаков пороли толмача. После двадцати ударов кожа на спине лопнула. Тело корчилось в судорогах. Ипполитко молчал.

Когда Скорняков, наклонившись, ещё раз спросил, кто дал ему деньги, толмач приподнял голову и плюнул исправнику в лицо.

– Бить мерзавца до последу! – закричал тот, отирая носовым платком глаза и щёки.

– Восемьдесят пять!.. – крикнул казак, бросая плеть.

Но Ипполитко уже не слышал. Он безжизненно лежал привязанным к скамейке. Со спины стекала струйками кровь на бревенчатый пол. Налетевший ветер трепал давно не чёсанный чуб толмача.

– Ваше благородие, он ведь помер! – похолодевший от страха Афоня присел перед мёртвым Ипполиткой и беззвучно заплакал.

На крыльце жалобно скулила маленькая собачонка. Когда возле скамейки никого не осталось, она с радостным визгом подбежала к своему хозяину и стала лизать безжизненные руки и лицо.

Глава 42

Весть о смерти Ипполитки свалила Клавдию Петровну в постель. Она казнила себя за отданные ему деньги, в душе просила бога простить её за совершённый грех.

«Лоскутник лоскутником был. В кармане-то и была только вошь на аркане, а хлестали за деньги. Да как хлестали! Курочке некуда клюнуть. Откуда у него такие деньги взялись – одному богу извест-

но, — вспоминала она каждое слово, сказанное Мироновной. — А денег-то, говорят, много было. За каждую бумажку по удару давали. И всё спрашивали: кто деньги дал? Кто велел самоедского бунтаря отпустить?

Он им, рассказывают, кукиш показал да с тем богу душу и отдал. Царство небесное. Пойду свечку на помин его души поставлю».

Мироновна тяжело поднялась и пошла в церковь.

— Я же говорю, Клава, нам надо уехать отсюда, и как можно скорее, — пытаюсь отогнать догадки, говорил Андрей Прокопьевич. — У тебя плохое здоровье. Услышала о каком-то мужике — и расстроилась, будто это не пьяница-толмач, а близкий тебе человек скончался. — Купец почувствовал что-то неладное и не на шутку испугался.

«А вдруг это деньги наши? — мелькнула мысль. — А что? Ведь не таких купцов, а графов и князей не миновал царский гнев, если их уличали в подстрекательстве. Тогда, чего доброго, и Курочкин мои денежки вспомнит. Уезжать. И никаких».

В дверь постучали. Писарь Афоня, ссутулившийся, с чёрными кругами под глазами передал приглашение исправника.

Купец накинул шубу и, застегивая её на ходу, пошёл за писарем.

Из дверей управы выталкивали самоедов. В изорванных малицах, с кровоподтёками и синяками, они шли, понури́в головы.

— Ну, ну, пошевеливайтесь, вояки! — кричал казак.

«Откуда у человека берётся смелость? — думал купец, признав в высоком самоеде Ваули. — Кто учил его этому? Неужели так просто пришла к нему мысль о бунте?»

— Вяжите их друг к дружке спинами! — слышалась команда берёзовского есаула. — Будут один другому спину греть, и убежать не так-то просто.

Выйдя на улицу, Ваули остановился. Ещё вчера с этим городом он связывал свои надежды...

— Иди, иди! — кричал казак, толкая Ваули прикладом в спину.

— Ох, любезный Андрей Прокопьевич, — услышал купец голос исправника. — Задали нам жару самоеды, не было ни минуты отдыха. Чтоб гром убил этого предводителя! А у меня разговор к тебе был. Можно сказать, только за этим и ехал сюда.

У купца отлегло от сердца.

Уезжаю скоро, — натягивал полушубок исправник. — Денег у тебя занять хотел. Не хочу с берёзовскими толстосумами связываться, а тёще край-петелька послать надо. Имение для нас нашли хорошее. Не век же тут жить будем, — исправник вздохнул. — Вон какие деньги лежат! Де-

сятки и даже сотни самоедов можно отпустить за такие деньги не моргнув глазом, и сделать всё шито-крыто, а за этого и голову потеряешь в одночасье. И где этот толмач столько взял – ума не приложу. До смерти заporоли, так и не сказал, кто ему дал. А взять нельзя. Акт составлен. Денежки все в казну пойдут.

Андрей Прокопьевич смотрел на деньги. Он был уверен, что эти деньги его, и мог сказать, сколько в этой пачке знаков.

– Восемьдесят пять – одна к одной! – будто угадав мысли купца, сказал исправник. – За каждую из них толмач получил по удару – и жизни конец!

С улицы донеслись визгливые крики. Распахнув дверь, урядник заорал:

– Самоедка какая-то сумасшедшая налетела. Колет копиями всех! Нож в спину казаку всадила!

Выскочив на улицу, Андрей Прокопьевич увидел на разгоряченной упряжке женщину с непокрытой головой, длинными чёрными косами. Она носилась между нарт, размахивая по сторонам острым копьем. Перепуганные казаки разбежались.

– Тученбала! Тученбала! – кричали связанные самоеды, а она, проскочив мимо упряжки Ваули и Тогомпадо, взмахом ножа перерезала ремни, но кандалы помешали Ваули вскочить к ней на нарту.

– Хорошо, Ваули, ты сделал! – кричала она. – Люди кланяются тебе. Ты накормил их хлебом!

Выстрел ухнул над толпой. Женщина выпрямилась, медленно обернулась, будто кого-то отыскивала за спиной, присела на нарту, встретившись взглядом с Ваули. Он вскочил, опрокинул нарту и упал в снег.

– Тученбала, Тученбала, – шептал он, и ему показалось, что он видит её большие чёрные глаза.

Олени, почуяв свободу, закинув рога на спину, понесли упряжку в тундру. Тученбала лежала попереёк нарты, открытые глаза не мигая смотрели в небо. Раскинутые, недвижные руки бороздили снег, оставляя после себя следы. Последние следы в её жизни.

– Вот видишь? – выглядывая из-за косяка, сказал Скорняков. – Каждую минуту со смертью рядом.

А перед глазами купца стояло открытое лицо бесстрашной самоедки, которую унесли в тундру перепуганные выстрелами олени.

Вскоре обоз в тридцать нарт увозил бунтарей в Берёзово.

Глава 43

Ваули и его сообщников посадили в тот же острог, где он сидел с Мигри. Всё те же низкие закопчённые потолки, покосившаяся печь. Лишь почерневшее сено было брошено не на пол, – а на грубо сколоченные плахи.

Ваули всё время молчал. Он почти не ощущал боли от побоев, изуродованных пальцев, обморо-

женного в дороге лица. Он страдал от сознания беспомощности, казнил себя за легковерие, за которое так дорого пришлось расплачиваться теперь его товарищам и Тученбале.

«Я не знал, что у тебя так много храбрости, Тученбала!» – думал он, вспоминая прощальные слова жены, её взгляд.

Хонзали, не спавший по ночам от сильного приступа кашля, подползал к нему, прижимался и шептал:

– Не надо, Ваули! Ты оставил в тундре крепкие крылья, – но голос терялся, тяжелело тело, и он, как беспомощный ребёнок, падал на сено. – Твои крылья возьмёт Майка или Тамбу, Неру или Хорруме, Ненвай или Ньюне. Много, много сильных птиц ты оставил в тундре, – после приступа снова говорил Хонзали и с надеждой смотрел на серое, как осенняя тундра, лицо Ваули.

– Слушай-ка! – встревоженно сказал надзиратель. – Здесь опять тот самоед, которого мы в Сургут возили! Истинный бог, он! – отскочил от двери надзиратель. – Вот ведь какой! Экую даль бежал! Столько мытарства принял, – и всё одно своё! Разве каждый так сдюжит?

На лавке со стоном захрапел Хонзали.

– А такие куда в драку лезут? Неужто и ему в тундре места мало? – удивлялся надзиратель. – Ну какой он бунтовщик? Вот я настоящих видел. При

моей памяти жили тут ссыльные господа, их тоже бунтарями звали. Вот, к примеру, почтенный Андрей Васильевич Ентальцев, или барин Андрей Иванович Черкасов, или господин Фохт. Добрые и почтительные люди были. За что их бунтарями звали, до сих пор понять не могу. А этот тоже – бунтовщик...

– Не скажи. Нагнали обдорянам страху, да и исправник наш, сказывают, свалился от какой-то лихорадки нервной.

– Однако их сегодня судить будут! Все торопятся. Говорят, поскорее в Тобольск отправить надо, а то всякие комиссии наедут. Наш-то исправник сколько нарочных в Тобольск с перепугу послал – сам как следует не помнит. А уж если комиссия приедет, то не одними самоедскими делами заниматься будет.

Земский суд находился в низеньком деревянном доме с резными ставнями и высоким крыльцом. Подходы к нему и подъезды были широко расчищены, по краям сугробов сторож наставил низенькие ёлочки, чтоб не так переметало дорогу снегом.

В залу вошли судьи. Исправник Скорняков неуклюже сел в кресло за широкий стол. Толстый, обрюзгший, переживший за последнее время много неприятных минут, он стал часто подёргивать головой и моргать правым глазом, будто кому-то подми-

гивал. По одну сторону от него сидели заседатели, с другой – представители остяко-самоедской управы. Хотя исправник и знал, что они не окажут никакого влияния на ход суда, но считал их присутствие обязательным.

Ввели арестованных. Скорняков, вспомнив день схватки и женщину-самоедку с копьем, поёжился. Неожиданный шум наполнил комнату: с грохотом упали на пол табуретки, зазвенели цепи кандалов. Тогомпадо, словно подхваченный ветром, очутился около стола, толкнул закованными руками князя Тайшина, и тот, испугавшись, закричал.

Надзиратели растолкали арестованных, навели порядок и встали возле длинной скамейки с ружьями.

Перебирая в руках исписанные листки бумаги, исправник читал дело по обвинению самоедов Обдорского края.

Новый толмач князя Тайшина казак Стёпка Корноухов переводил плохо, говорил тихо и невнятно. Тайшин сердился и морщился.

Ваули, положив на колени закованные в кандалы распухшие руки, был безразличен ко всем показаниям, которые давали суду разные торговые люди. Но стоило появиться мещанину Нечаевскому, как Ваули вскочил со скамейки, сделал несколько шагов. Казаки взяли ружья наперекрест. Тогомпадо успел вскочить на скамейку, стал гро-

зить мещанину кулаками. Мещанин, отирая ладонью вспотевшее от волнения лицо, шумно фыркнул носом, круглые плечи его вздрагивали.

— Пусть твои кости изгрызут волки, — громко переводил толмач слова Тогомпадо.

Вдруг все услышали голос всё время молчавшего Ваули.

— Пусть он глядит мне в глаза! — переводил толмач.

Самоеды, услышав Ваули, приободрились.

Нечаевский ниже опустил голову.

— Помилуйте, господа! — Нечаевский втянул голову в плечи. — Освободите меня от такого терзания. И так столько времени в страхе живу. Еле еле ноги от них унёс!

Ваули выпрямился, и, как показалось многим, на плечах его затрещала одежда. Все затихли, надзиратели вскочили с мест, исправник зазвенел в колокольчик.

— Чего не смотришь? Наверно, теперь твоя мать от стыда закрывает глаза! — сказал Ваули.

— Освободите! — взмолился Нечаевский. — Неровен час, сердце остановится.

— Вот как надо служить отечеству! — растроганно сказал исправник, когда Нечаевский, кланяясь, спиной открыл дверь и вышел.

После ухода Нечаевского приступили к допросу самоедов.

– Подсудимый Ваули Пиеттомин, – робко перевёл Степка Корноухов, – суд тебе задаёт вопрос: от кого тебе в голову пришли такие преступные мысли?

Ваули, услышав своё имя, посмотрел на толмача, на своих товарищей. Не зная, для чего исправник забарабанил по столу толстым пальцем, толмач повторил вопрос.

– От моего голодного народа, – ответил Ваули, не вставая.

Толмач виновато смотрел на Скорнякова, не зная, как поступить дальше.

– Тогда, может, ты скажешь, кто твои главные сообщники? – перевёл толмач.

– Все, кто пришёл к моему огню!

И тут перед Ваули встал Хонзали. Он еле-еле передвигал ноги.

– Сколько лет и зим мои глаза видят солнце, – спешил Хонзали, будто боялся, что не успеет высказать всего, что надумал, – я отроду не платил ясака. Я шибко бедный самоед. У меня нет оленей, нарты я возил на своих плечах. Всем бедным в тундре Нумо послал Ваули. Ваули дал мне упряжку! Он зажёг в моём чуме огонь. Разве могло терпеть моё сердце, когда вы схватили Ваули? Разве могли видеть мои глаза, как ломали ему руки? – спрашивал Хонзали толмача.

– Как только Ваули убежит, – перебил Хонзали Тогомпадо, – мы соберём всю тундру от Енисея до Печоры! Я говорил Ваули не ходить к князю без людей! – кричал он. – Я убежал бы, убежал, но как без Ваули будет жить тундра? Без Ваули тундра – сирота!

«О господи, – подумал про себя исправник. – Надо заканчивать поскорее. Кто знает, чего наговорят эти дикари, а кривотолков будет потом – не переслушаешь».

И суд решил: дознания самоедов Хонзали и Сано Лазорина не производить. А что Ваули Питтомин – бунтарь и вожак, и так доказано.

– К тому же он имел злой умысел – порешить всех жителей Обдорска, – добавил исправник. И, к удивлению всех членов суда и присутствующих, сам встал и объявил: – Суд над самоедами Обдорского края закрывается. Все могут идти по домам, а арестованных увести в острог.

«Ну что за потеху я устроил? – казнил он себя. – Какая нелёгкая меня попутала? Даже в добрые времена я не рисковал. В самых простых делах и то губернский суд находил сотни погрешностей, а тут каждый листок будут читать да перечитывать. Изловил бунтовщиков, и слава богу. Отправил бы в Тобольск, и дело с концом. Так нет, учинил какой-то маскарад!»

Он слышал, как мимо него прошли присяжные, как подошёл к столу городской голова Игнат Семенович, дышал над столом сипло и громко, намереваясь о чём-то спросить исправника.

Оставшись в зале вдвоём с писарем, Скорняков попросил:

– Ну-ка, прочитай, что у тебя там написано! Так и есть: «Без Ваули тундра – сирота», «Соберём людей от Енисея до Печоры».

«Выбросить всё это в огонь – и делу конец. Ведь что написано пером – не вырубишь топором». – Исправник сложил листки в папку, хотел было взять с собой дело, но передумал и вернул обратно писарю.

– Ну его! А то из-за какой-то бумажки ниточка потянется – греха не оберёшься. Чего доброго, ещё в соучастники запишут. А моя эстафета, наверное, в руках самого генерал-губернатора побывала. Теперь гостей жди!

Глава 44

Проклиная всё на свете, ругая лошадей и дороги, мёрз в крытом фургоне чиновник особых поручений Яков Казимирович Казачинский.

«Мы Тобольск Сибирью зовём! – думал он, кутаясь в тулуп. Отсыревшая промороженная овчина на воротах неприятно щекотала щёки и шею.

Он натягивал до глаз шерстяной шарф, но и тот скоро пропитывался какой-то сыростью.

«Этакая суровость! Да здесь встретить человека по пути – великая радость. Великое счастье», – рассуждал он. Громкие окрики кучера радовали его. Он глядел на засыпанную снегом спину, которая раскачивалась на облучке, подпрыгивала на частых ухабах.

В Берёзово приехали за полночь. Гнетущая тишина окутала запорошенный снегом город. Скрип полозьев содрогал застоявшийся сонливый мрак, наводил тревогу и тоску.

Казачинский был любезно встречен земским заседателем Курочкиным и всей обдорской знатью, которая явилась тут же.

Утром, узнав, что исправнику Скорнякову нездоровится, Казачинский принялся за работу. Он не стал никого слушать о подробностях дела, а принялся изучать сам свидетельские показания, связанные только с возмущением бунтовщика Ваули Пиеттомина. Читал всё скрупулезно, делая пометки на полях.

– Жаль, жаль, что вы поторопились с отправкой бунтовщиков, – сказал Казачинский на пятый день работы. – По всей видимости, мы разъехались с ними где-то в районе села Самарово. И надо же было мне попросить баню истопить! У меня мелькнула мысль, когда я увидел пробегающие с

вашей стороны упряжки, но не мог подумать, что так поспешно распорядитесь отправить их в Тобольск.

— Старались, — ответил заседатель Курочкин, в душе радуясь, что сплавил с рук самоедов.

— Я вот не вижу в делах описи имущества главаря, — внимательно проглядывая опись, спросил Казачинский. И, видя, что заседатель недоуменно пожал плечами, повторил: — Нет в деле обыкновенной описи имущества предводителя.

— Какое у самоедов имущество? — засмеялся заседатель. — У них всегда всё при себе: одежда, нож, луки, амулеты, а если в чумах есть какой-нибудь скарб, так мы этих в Обдорске изловили: в чём брали, в том и отправили. Реестр на оружие есть. — Заседатель полистал последние страницы дела. — Вот, всё тут: винтовка — одна. Нож пятичетвертной, лук, колчан со стрелами, поясной ножик, копьё — одно. И всё!

— Это я видел. Да. Не лишку вещей у предводителя самоедской стороны. Надо бы ещё составить список торговых людей и мещан, участвовавших в поимке бунтаря. Надо ценить их преданность, следует побеспокоиться о составлении ходатайства на представление Нечаевского к награде. Если об этом узнает государь, то медаль за такое дело мещанин непременно получит, а тогда и всех не обойдет царская милость.

— Благодарствуем, благодарствуем на добром слове! — проговорил заседатель. Он, хотя и не имел никакого причастия к поимке бунтарей, всё же был доволен, что чиновник дело ведёт спокойно, ни во что другое не вмешивается и, по его предположению, не сегодня — завтра закажет лошадей в обратную дорогу.

И каково же было удивление всех, когда чиновник сообщил, что для обстоятельного доклада Его превосходительству генерал-губернатору ему следует побывать в Обдорске, поточнее узнать причины, побудившие самоедов к бунту.

Узнав про это, успокоившийся было исправник Скорняков от волнения слёг и не знал, когда проводили в Обдорск чиновника особых поручений.

Глава 45

Лодыженский ехал в тюрьму. За ним спешили экипажи служащих губернского управления.

На бугристых улицах экипажи подбрасывало. Напуганные шумом, из подворотен скалились дворняжки, дремавшие на крышах коты, выгнув спины, фыркали, прятались под кровлю.

Лодыженский силился вспомнить, когда последний раз он был в этой тюрьме, но не мог. Ему показалось, что она стала меньше, потолки ниже, коридоры уже. Из крохотных решётчатых окон еле пробивался свет. Едкий запах прели и во-

ни ударил в нос. Он приказал открыть тюремную церковь и туда привести самоедов-бунтарей, как он сказал перед выездом, «для личного знакомства».

Их ввели в серых арестантских халатах, с бритыми головами, худых и бледных, и, как показалось Лодыженскому, все они были на одно лицо.

Ваули стоял чуть поодаль, зато остальные уселись бесцеремонно на пол около порога, с любопытством смотрели на богато одетых людей.

– Чего мы все стоим, если не в силах держать в повиновении таких дикарей? – не скрывая раздражения, сказал Лодыженский. – Встаньте! – багровея, закричал он, но самоеды не пошевелились, удивленно посмотрели на разгневанного господина.

Стражники переглянулись, забегали по коридорам, младшие чины, пожимая плечами, боялись вымолвить слово.

– Да они по-нашему не понимают, а толмача где-то нет. Ему никто не наказывал сегодня быть тут, – сообразив, в чём дело, чуть слышно сказал надзиратель.

Лодыженский, успокоив себя, стал внимательно разглядывать арестованных. Спрятав руки за спину, он ходил возле них. Встретившись взглядом с Ваули, отвернулся.

– По всей вероятности, главарь – он?

– Этот! – подтвердил начальник тюрьмы.

– А что, они осознают, за что их судили и куда их привезли? – спросил кто-то из служащих.

Толмача втолкнули в церковь. Еле переведя дух, он обратился к Ваули:

– Это приехал большой русский начальник. От него будет зависеть твоё наказание.

Ваули внимательно посмотрел на Лодыженского.

«Может быть, эти самоеды и говорить не умеют, а мы разожгли костёр и испугались», – думал Лодыженский, расхаживая по церкви.

Пересохшие половицы скрипели под тяжестью его грузного тела.

Ваули, не спуская с него взгляда, заговорил быстро и громко.

– Что? Что он говорит? – поинтересовался Лодыженский, видя, как прилила кровь к бледному лицу Ваули.

Толмач молчал.

– Что он говорит?

– Он говорит, что всё равно вернётся в тундру. А вы все вокруг зря лаете, как перепуганные собаки.

Свита опешила.

– Неслыханно! – кричал кто-то из низших чинов.

– В одиночку его! И заковать! – приказал Лодыженский и быстро вышел.

Обратную дорогу из тюрьмы Лодыженский ехал в плохом настроении. Он пытался вспомнить, кто и когда мог так разговаривать с ним.

«Может, он не знает, кто я?» – пытался успокоить себя гражданский губернатор, но понимал, что делает это для успокоения своего оскорблённого самолюбия. «Надо заняться документами на испрошение наград тем, кто сумел поймать этого возмутителя, – подумал он, снимая мундир. – Значит, только пуганая собака всю ночь лает? – спрашивал себя Лодыженский, расхаживая в кабинете из угла в угол. – Вот мерзавец! Значит, пуганые собаки? А что? Эта дерзость граничит с правдой. Просто мы не всегда признаёмся в этом себе. В самом деле, разве мы не испугались бунта? Всех подняли на ноги: губернатора, военного министра, государя!»

Листая пухлую папку дел, связанных с возмущением самоедов Обдорского края, он удивился множеству докладов и записей, донесений следственной комиссии, опросов мещан, духовных лиц, казаков, рапортов графа Толстого на обдорского заседателя Соколова, переписке об удалении его и назначении нового, десяткам справок об уплате прогонных денег.

«Вот кого надо благодарить за сегодняшнее наше спокойствие, – остановившись на характеристике мещанина Нечаевского, думал Лодыженский. – Не всякий согласится ехать к бунтарю в самое логово».

Глава 46

Закованного Ваули посадили в одиночную камеру. Он потерял счёт дням и только по полёту птиц, по облакам, которые он видел через зарешёченное окно под потолком, догадывался, что на его родину пришла весна или пошла по реке Вонзь.

В один из тёплых дней Ваули вывели на прогулку. В маленькой клетке, огороженной высоким забором, он ходил вокруг стен, задрав вверх голову, и заворуженно смотрел на пролетающих птиц. Из соснового бора доносились запахи хвои и дыма.

Откуда-то из-под расщелины забора выскочил цыплёнок и, жалобно пища, забегал возле стены, пробежал по ногам Ваули. За дощатым забором квохтала курица. Чем громче был писк цыплёнка, тем неистовее кудахтала клушка и била крылом.

Ваули присел на корточки, вытянул закованные руки и поймал цыплёнка. Цыплёнок скоро присмирел в его тёплых ладонях.

– Ты уже большая куропатка, тебе пора оставлять мать и самому искать защиту, – говорил Ваули. Он сидел ссутулясь. Худые лопатки торчали из-под рубахи перебитыми крыльями. Отыскав в заборе маленькую щель, Ваули выпустил цыплёнка. – Иди на волю. Там хорошо, – он припал ухом к щели и долго слушал, как курица сзывала цыплят.

После прогулки Ваули совсем затосковал, лёг на брошенный в угол клок сена, даже не поднял го-

ловы, когда в камеру вошёл толмач. Ваули не слышал его. «Убежать. Только бы убежать ещё раз! — билась мысль. — Сбросить с себя эти тяжёлые кандалы, и тогда он поднимет всю тундру. Всю! Как сказал Тогомпадо: от Енисея до Печоры».

Толмач не уходил. Он смотрел то на Ваули, то на надзирателя, и смысленный мужик, поняв, что толмач хочет что-то сказать Ваули одному, отошёл в сторону.

— Я недавно был в Обдорске, — заторопился толмач, — там опять ловили твоих пособников, но никого не поймали. Они умчались на Таз, отогнав все стада князя Тайшина.

Ваули тяжёлым взглядом посмотрел на толмача и сел, положив голову на колени.

— Тогомпадо и Ямо тебе поклон слали, а Хонзали умер в тюрьме, — встретившись взглядом с Ваули, толмач поторопился выйти.

Казалось, все забыли о Ваули и о бунте в Обдорске. Зачинщики пойманы, комиссия занималась другими неотложными делами. В краю наступило спокойствие. Мещанину Нечаевскому, исправнику Скорнякову и князю Тайшину вручили награды, все участники в поимке самоедов получили по двадцать пудов казённой муки, урядника Шахова повысили в звании, казакам объявили благодарность. Но дело о возмущении самоедов Обдорского края всё ещё находилось в работе.

Письма от военного министра генерал-губернатору Западной Сибири и обратно, эстафета от самого государя, дознания свидетелей требовали много времени. Преступление Ваули Пиеттомина составляло особую важность и было передано на рассмотрение военному суду.

Ваули привезли на суд в крытой кибитке. Двое одетых по форме солдат неотлучно сопровождали его, а поодаль, заложив руки за спину, шёл толмач.

Внешне Ваули был невозмутим. Казалось, что всё происходящее не имеет к нему никакого отношения. Но когда его ввели в зал и на маленьком столике он увидел своё оружие – нож, копье, стрелы, ружьё, – на лице его выступил румянец, запылали щёки, будто вдруг напахнуло свежим ветром тундры, промелькнули знакомые лица соплеменников.

Суд продолжался недолго. Ваули на многие вопросы толмача не отвечал, и писарь вписывал ответы очевидцев. Но на самый щекотливый: с какой целью он делал набеги на оленье стада старшин, – следовало записать чёткий ответ. И Ваули сказал:

– Я делал это для бедных.

Толмач долго и нудно переводил решение военного суда, смысл которого сам понимал едва ли.

По указанию генерал-губернатора Западной Сибири военный суд приговорил Ваули Пиеттомина к каторжным работам. От телесного наказа-

ния «преступник был освобождён, но подлежал клеймению».

...Уходили на каторжные работы этап за этапом. А дело о судьбе обдорского возмутителя всё ещё не было подписано. Только после новых тревожных вестей из Обдорска генерал-губернатор Западной Сибири перечитал приговор и собственноручно подписал: «Приказу о ссыльных предписать Ваули Пиеттомина назначить в Восточную Сибирь».

Стояли лютые холода. Ветер колючим снегом хлестал в лицо, валил арестантов с ног. Купола редких церквей терялись в снежной мгле. Пурхался, проваливаясь по брюхо в сугробах, брела лошадёнка. Ваули, прищулив глаза, сквозь припухшие веки видел необъятные просторы Сибири. Вместо лязга оков слышал радостный перезвон колокольцев оленьих упряжек. Ваули знал, что в тундре у него остались надёжные крылья. Их подхватят храбрые сыны племени Ненянгов: Майка и Тамбу, Неру и Хорруме, Нензай и Ньюне...

Настанет время – и его сын пустит по тундре бунтарскую стрелу, которая вновь соберёт много, очень много людей. Он продолжит дело, начатое Ваули.

Содержание

Анисимкова Маргарита Кузьминична

Ваули	3
Глава 1	3
Глава 2	17
Глава 3	33
Глава 4	41
Глава 5	50
Глава 6	62
Глава 7	72
Глава 8	84
Глава 9	98
Глава 10	114
Глава 11	118
Глава 12	125
Глава 13	133
Глава 14	137
Глава 15	148
Глава 16	156
Глава 17	162
Глава 18	167
Глава 19	174
Глава 20	182
Глава 21	188
Глава 22	195

Глава 23	202
Глава 24	214
Глава 25	221
Глава 26	227
Глава 27	235
Глава 28	238
Глава 29	244
Глава 30	248
Глава 31	253
Глава 32	262
Глава 33	272
Глава 34	276
Глава 35	283
Глава 36	293
Глава 37	300
Глава 38	312
Глава 39	318
Глава 40	323
Глава 41	333
Глава 42	343
Глава 43	347
Глава 44	354
Глава 45	357
Глава 46	361

Учебное издание

МАНСИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Хрестоматия

для учащихся 7 класса
общеобразовательных учреждений

Часть 2

Оригинал-макет подготовлен ООО «Югорский формат»

Подписано в печать 11.12.2015.

Формат 60х84/16. Гарнитура Times New Roman.

Усл. п. л. 22,88. Тираж 200 экз. Заказ № 40.

Отпечатано в

ООО «Югорский формат»

г. Ханты-Мансийск, ул. Лопарева, 15, подъезд № 8

+7 (3467) 912-019, +7 952 690 99 39

Uformat@mail.ru